



Александр Генис



Дзен футбола

и другие
истории

«Со стороны
нельзя судить, кто
прав в этой игре.
Изнутри это понять
еще труднее».

Александр ГЕНИС

ДЗЕН ФУТБОЛА
и другие истории



Александр ГЕНИС

Москва
АСТ Астрель



**ДЗЕН
ФУТБОЛА**
.....
Александр ГЕНИС
**и другие
истории**

Москва
АСТ Астрель

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос-Рус)6
Г34

Макет *Кузнецова В.К.*

Фото на фронтисписе *Александра Минаева*

Фото на обложке *Ирины Генис*

Генис, Александр

Г34

Дзен футбола и другие истории / Александр Генис. — М.: АСТ: Астрель, 2008. — 319, [1] с.

ISBN 978-5-17-049830-7 (АСТ)

ISBN 978-5-271-19303-3 (Астрель)

В книге известного писателя Александра Гениса собраны оригинальные разновидности его главного жанра — эссе. Смешные притчи и острые диалоги раздела «Форум» представляют собой необычный дневник автора, пристрастно глядящего на русскую жизнь изнутри и снаружи. Приключения тела и духа составили вторую часть сборника — «Отпуск». «Некрологи» позволяют со скорбью и юмором отпеть уходящие из жизни XXI века явления — от почерка и славы до телеграмм и скуки. «Истории» А. Гениса, большая часть которых впервые появилась в «Новой газете», демонстрируют возможности той популярной теперь во всем мире прозы, что стирает границы между беллетристикой и «нон-фикшн», объединяя их в изящную словесность.

УДК 821.161.1-4

ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-17-049830-7 (АСТ)

ISBN 978-5-271-19303-3 (Астрель)

© ООО «Издательство Астрель», 2008

Мне лишь учил и воспитал

Писателя в табачнике

Хлеб был убогим

Был ашотом

Самая первая

Знаю, Андрей

Оригинальный текст

Дорогой человек

Мне бы хотелось видеть вас

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Мне бы хотелось

Посвящается

Дмитрию Муратову,

подбившему автора на эту книгу

ОТ АВТОРА

АВТОР

ОТ АВТОРА

АВТОР

АВТОР

АВТОР

АВТОР

АВТОР

АВТОР

АВТОР

АВТОР

АВТОР

АВТОР

АВТОР

АВТОР

АВТОР

АВТОР

АВТОР

АВТОР

ОГЛАВЛЕНИЕ

АНКЕТА	9
ФОРУМ	15
Игра в бисер	16
Политическое животное	21
Дзен футбола	26
Пиджак за пять тысяч	31
Инородцы	35
Литерати	40
Телероман	45
Жалобы турка	50
Бесы: отцы и дети	55
Жить стало лучше, жить стало веселее	60
Наука умеет много гитик	65
Бешеные деньги	70
Трудно быть богом	75
Постмодернизм: победа разума над сарсапарилой	80
Если ты не Монте-Кристо	85
Иностранец Федоров	89

Моя жизнь среди шпионов	94
Гвельфы и гиббелины	99
Если бы президент был вашим родственником	104
Синяя борода	109
День индейки	114
Оранжевая елка	120
Делянка утопии	125
Мой любимый цвет — белый	131
Миф пластилина	135
Quid pro quo	141
Встреча на Эльбе	146
Закон что дышло	151
bednye lyudi. doc	156
ОТПУСК	159
Лето свободы	160
За компанию с Холмсом	165
Кровь, любовь и рыбалка	177
66	185
Английская соль земли	191
Волшебные горы	198
Зимой в Венеции	209
Право убежища	214
Опасные связи	220
Тавроматия для начинающих	230
Почти по Беккету	238

Чесуча и рогожа	245
Две поездки в Москву	259

НЕКРОЛОГИ	271
Памяти дочерки	272
Памяти славы	277
Памяти Арктики	282
Памяти эрудиции	287
Памяти ночи	292
Памяти космоса	297
Памяти скуки	302
Памяти телеграммы	307
Памяти пунктуальности	311
Памяти книги	315

Что может вас оттолкнуть от человека при первом знакомстве?

Панибратство.

О чем вас бесполезно просить?

Взяться за оружие.

О каком не совершенном поступке вы сожалеете?

Не научился ручному труду.

Какую книгу вы бы не позволили прочесть своим детям?

«Как стать миллионером за один день».

Какая новая черта нынешней молодежи
вызывает у вас зависть и восхищение?

Знание языков.

Какое свойство юности вы бы мечтали себе

Пронуть?

Понимание.

Что для вас труднее — выслушивать слова
благодарности или извинения?

Первое. Но уже после того, как слова прозвучат.

Что вы могли бы делать
своими руками на продажу?

Щи.

Нелюбимая еда, нелюбимая одежда.

Сало и шуба.

Сумма наличных денег при себе, без которой
вы чувствуете себя некомфортно.

Чтобы хватило на такси — в любой стране.

На что ежедневно не хватает времени?

На то, чтобы не работать.

Идеал женщины.

Красивый собеседник.

Идеал мужчины.

Улыбчатый собеседник.

Самое сильное впечатление детства.

Снежная зима с санками.

Элемент комфорта, без которого

труднее всего обойтись.

Тишина.

Житейская мечта.

Творческая старость.

Чем в себе недовольны?

Неуверенностью.

Модное слово или выражение,
от которых коробит.

«Раскрутили».

С кем из известных людей прошлого
вам бы хотелось встретиться?

С Конфуцием.

Есть ли реалии советской эпохи,
по которым вы скучаете?

Вера в светлое будущее.

Назовите три, на ваш взгляд, определяющие
приметы современной России.

Энергия, эгоцентризм, эмоциональный голод.

Сколько дней отпуска вы можете себе позво-
лить за один раз?

Две недели.

Ваша любимая семейная легенда.

О разухабистом подольском купце Генисе.

Самый далекий (по времени) родственник,
чье имя-отчество вы знаете?

Прабабка Матрена Ивановна.

Если бы у вас была возможность позвонить
в прошлое, кому и для чего вы бы позвонили?

Довлатову, чтобы рассказать, чего он добился
после смерти.

Чего вы боитесь сильнее смерти?

Смерти других.

На какой вид благотворительности вы бы с
удовольствием тратили деньги?

Ограничение рождаемости.

Что в людях вас раздражает больше всего?

Снобизм.

За что вы готовы переплачивать
без сожаления?

За радость.

Какой из смертных грехов (гордыня, зависть, алчность, чревоугодие, похоть, уныние, гнев) кажется вам не таким уж и смертным?

Все.

Назовите проблемы, которые в России надо решать незамедлительно.

Проблемы не решают, над ними поднимаются.

ИГРА В БИСЕР

Я не знаю, почему эту игру окрестили названием моего любимого романа, но ее незатейливые правила показались мне знакомыми. Выбрав бродвейский перекресток побойчее, один из двух участников кивает на прохожего, знаком давая понять, что это — русский. Если второй согласится принять немое пари, у жертвы спрашивают, который час — естественно, на родном языке. Ответ выдает происхождение и определяет победителя.

Будучи старожилом, я не могу «играть в бисер»: нечестно. Русского я могу узнать со спины, за рулем, в коляске. Мне не нужно прислушиваться, даже всматриваться — достаточно локтя или колена.

Раньше, конечно, было проще. Только наши носили ушанки, летом — сандалии с носками. Шли набычившись, тяжело нагруженные, улыбались через силу, ругались про себя. Узнать таких — не велика хитрость. Как-то подошла ко

мне в Нью-Йорке соотечественница с еще золотыми зубами, чтобы спросить «Метро, вере из?» Я ответил по-русски. «Тэнк ю», — поблагодарила она, от радости решив, что английский — уже не проблема.

Но это — когда было. Теперь таких — испуганных, в шубе, с олимпийским мишкой на сумке — уже не встретишь. А я все равно узнаю своих — в любой толпе, включая нудистов, в любом мундире — полицейского, стюардессы, музейного зрителя. Однажды заметил панка, колючего, как морская мина. Друзья не поверили, но я был тверд. И что же — минуты не прошло, как его мама окликнула: «Боря, я же просила».

Атеисты думают, что дело — в теле и в лице, конечно: низкий центр тяжести, славянская округлость черт. Ну а как насчет хасида, с которым, как потом выяснилось, я ходил в одну школу? Или ослепительной якутки, которую я опознал среди азиатских манекенщиц? Или казаха на дипломатическом рауте в далеко не русском посольстве? Коронным номером стала негритянка, в которой я, честно говоря, сомневался, пока она не обратилась к своему белому сынишке: «Сметану брать будем?»

Сознаюсь: хвастовство мое отдает расизмом, как всякий приоритет универсального над личным. Никто не хочет входить в группу, членом

которой не он себя назначил. Одно дело слыть филателистом, другое — «лицом кавказской национальности». Меня оправдывает лишь то, что, интуитивно узнавая соотечественника, где бы он мне ни встретился, я нарушаю политическую корректность невольно. Примирившись с проделками шестого чувства родины, я тщетно пытаюсь понять его механизм. Из чего складывается та невразумительная «русскость», которая, лихо преодолевая национальную рознь, делает всех нас детьми одной уже развалившейся империи?

Иногда тот же вопрос мучает и иностранцев. Например — японцев. Не умея отличить себя от корейцев, они безошибочно выделяют нас среди остальных европейцев. «Над русскими, — говорят японцы, — витает аура страдания». Может, поэтому там любят фильмы Германа, не говоря уже о Достоевском.

Как все правдоподобное, это вряд ли верно. Страдают обычно по одиночке, хором проще смеяться. Да и конкурентов немало у русских бед.

Есть еще коллективное бессознательное, но я в него не верю. Юнг придумал другое название «народной душе», изрядно скомпрометированной неумными энтузиастами. Перечисление, однако, не описывает души. Она неисчерпаемая, хоть и неповторимая. У государства к

тому же ее нет вовсе — оно же не бессмертно. Да и кто, во всяком случае, до Страшного суда, возьмется клеить ярлыки? Солженицын отказывался называть Брежнева русским. Брежнев вряд ли считал таковым Щаранского. Но за границей всех троих объединяло происхождение. Иноземное окружение проясняет его, как проявитель пленку.

Масло масляное, — говорю я, сдаваясь эмпирике. Жизнь полна необъяснимыми феноменами, и постичь тайну «русского» человека не проще, чем снежного — неуловимость та же. Остается полагаться на те мелкие детали, что вызывают бесспорный резонанс.

Мы уже не пьем до утра, но еще любим сидеть на кухне.

Мы уже не читаем классиков, но еще оставляем это детям.

Мы уже знаем фуа-гра, но еще млеем от лисичек.

Мы уже терпим демократию, но еще предпочитаем всем мерам крайние.

Мы уже не говорим «мы», но еще не терпим одиночества.

Мы уже не лезем напролом, но еще входим в лифт первыми.

Мы уже не любим себя, но еще презираем остальных. Мы уже говорим без акцента, но еще

называем чай — «чайком», пиво — «пивком», а водку — «само собой разумеется».

Сразу после войны я попал в Сербию. Уровень балканской смури характеризовало и то обстоятельство, что в Белграде выпускали мои книги. Больше всего мне понравилась первая — она вышла на двух алфавитах сразу. То, что о России, печаталось кириллицей, то, что про Америку — латиницей. Этот прием достаточно точно отвечал устройству моей жизни: половина — родным шрифтом, половина — заграничным.

Встреча с читателями началась с вопросов. Первым встал диссидент с бородой и ясным взглядом:

— Есть ли Бог? — спросил он.

Я оглянулся, надеясь, что за спиной стоит тот, к кому обращаются, но сзади была только стенка с реалистическим портретом окурка.

— Видите ли, — начал мямлить я.

— Нет, не видим, — твердо сказал спрашивающий, когда мой ответ перевели буквально, — А вы?

— Почему — я?

— Вам, русским, виднее.

Тут я понял, что влип.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОЕ

Ставя рядом с подписью «Нью-Йорк», я немного преувеличиваю. Мой адрес звучит иначе: Edgewater, Undercliff Avenue. Переводя приблизительно — Набережные Челны, улица Подгорного. С Манхэттеном нас разделяет миля, даже не морская, а речная: Гудзон. Живя на его берегу, я слышу голос нью-йоркских сирен (обычно — полицейских), но соседи глупы к их зову. Многие годами не пересекали реку. Наш городок, исчерпывающийся двумя улицами, скалой и набережной, самодостаточен, как американский футбол, которому на чемпионате мира не грозят соперники. Но с политической точки зрения я живу в Древней Греции. У нас, если верить Аристотелю, идеальный полис. Избирателей здесь как раз столько, чтобы каждый мог услышать голос оратора — меньше пяти тысяч. Точнее — 4119. Я знаю наверняка, ибо только что вернулся с выборов. На них решался вопрос, задевавший, в отличие от войны

и мира, всех горожан: пускать ли паром, обещающий нам объединяющие — или удушающие — узы с Нью-Йорком.

Дилемму, которую мирным путем мы не смогли разрешить даже с женой, пришлось оставить демократии. Она принесла свои плоды — к урнам пришло вдвое больше, чем обычно: 15% избирателей, 607 человек.

Собственно, я их всех знаю. Это счастливое племя пенсионеров. Лишившись своих дел, они с азартом занимаются общими, отрываясь ради них от лото, йоги и бальных танцев. Поскольку остальным недосуг, демократия, приобретая еще более архаические черты, вручает власть в усталые руки старейшин.

В Америке, как и всюду, трудно найти человека, который любит свое правительство, тем более что никто и не признает его своим. Еще труднее найти тех, кто отказался бы от права выбирать себе власти. Но и тех, кто им пользуется, не встретишь на каждом шагу.

Американцы любят демократию настолько, чтобы за нее умирать, настолько, чтобы за нее убивать, но не настолько, чтобы ею всегда пользоваться. Победив, демократия почивает на лаврах, как спящая красавица. Но сон не смерть, скорее, ее противоположность. Во сне мы обладаем истинной полнотой бытия, пото-

.....

му что его не тратим. Бездействие — залог целостности, как золотой запас. Мирно покоясь под замком, он обеспечивает стоимость миражных денег. Нам, как скупому рыцарю, достаточно знать, что сундуки полны. Потенциальная власть сильнее всякой: ею не пользуются по назначению. Она не средство, не цель, а условие и того, и другого.

Примерно то же можно сказать о свободе, хотя когда ее не было, я знал о ней куда больше. Правду можно сказать только об обществе, которое ее скрывает, о свободе узнаешь в неволе, да и то — немного.

Выросшее на самиздате поколение думало, что мечтает о свободе слова. На самом деле ему (нам) нужна была свобода запрещенного слова. Каким бы оно ни было. Бродский верил, что жизнь изменится, когда Россия прочтет «Чевенгур». Она изменилась, когда напечатали «Шестерки умирают первыми». В конце концов, желтая пресса — самая свободная в мире, она свободна даже от разума. Нужно еще удивляться, что иногда он находит себе дорогу в пустырях, заросших сплетнями о Пугачевой.

Дефицит обостряет чувства, как голод — аппетит. В сытой Америке об этом не помнят. Чтобы освежить соблазн свободы, здесь надо ляпнуть что-то серьезное, скажем — о неграх.

Однажды нам такое удалось. В ответ на письмо из Госдепартамента я испытал знакомые судороги. Страх пополам с наслаждением: власть знает тебя в лицо, пусть оно ей и не нравится. С тех пор — в отместку — я не пропускаю выборов. Нельзя сказать, чтобы это изменило Америку. Я, например, как, впрочем, большинство американских избирателей, не голосовал за нынешнего президента, но у меня есть отмазка. Вмешавшись в редкую толпу голубоволосых леди, я разбудил в себе демократию, чтобы не отвечать за чужие ошибки.

Жить в обществе и быть свободным от него, можно, лишь зная, что оно неизбежно изменится. Выборы — машина перемен в любую сторону. Демократия не без лицемерия называет «народом» только тех, кто играет по ее правилам. Но, в сущности, этот генератор равнодушной свободы, потворствует не столько большинству, сколько смене. Разница ощутима даже тогда, когда мы меняем шило на мыло. Впуская в жизнь произвол масс и слепоту случая, демократия открывает пути хоть и непредвиденному, зато непостоянному. У нее всегда остается шанс исправиться.

Осенью 1993-го я прилетел в Москву. О том, что произойдет в это дождливое воскресенье, догадывалась почему-то одна «Нью-Йорк

таймс». Читая ее в самолете, я узнал о Жириновском больше, чем мне хотелось бы. А в понедельник, услышав о результатах выборов, друзья спрятали глаза. Им было стыдно за свой народ, оказавшийся недостойным демократии.

Люди, однако, всегда недостойны демократии. Именно поэтому китайцы изобрели все, кроме нее. Они верили, что всякая политическая система должна рассчитывать на худших. Лучшим закон не писан. И свобода им не нужна. Разве что — от себя, как Будде.

Нам — сложнее. Особенно моим друзьям, многие из которых рисковали судьбой, чтобы сделать возможным выборы, которые они пропустили. Воскресенье выдалось пасмурным, а для демократии дождь часто страшнее танков.

ДЗЕН ФУТБОЛА

Новому Свету труднее открыть Старый, чем Колумбу — Америку. Во всяком случае, футбол так и остался старосветской причудой, вызывающей у американцев подозрение в исторической неполноценности. Чтобы полюбить футбол, американцы должны стать, как все, чего они всегда боялись. Возможно, тут еще виновата географическая карта, на которой болельщики не умеют найти соперников: рядовой американец знает только те страны, с которыми воюет.

Между тем в мире, где банки, Интернет и террористы успешно отменяют государственные границы, один футбол укрепляет тающую державную идентичность. Легче всего страны и народы отличить на поле — по трусам и майкам. Иногда, впрочем, не только цвет, но и суть национальной души проявляется в геометрии игры. Трудно спутать дисциплинированный марш немцев от ворот к воротам с вихревым

перемещением бразильцев, не отдающим мяча ни своим, ни чужим. Наглядные различия подчеркивают геральдическую природу футбола. Однако государственный фетишизм, связывающий коллективное благополучие с забитым голом, чужд американцам. В их одиноком безнациональном раю футболисты, как пришельцы или ангелы, гоняют мяч в основном для своего, а не нашего удовольствия.

Я не оправдываю Америку, я ее жалею. Смотреть футбол не менее интересно, чем играть в него.

Как все великое, футбол слишком прост, чтобы его можно было объяснить. Единственное необходимое условие состоит в запрете на самый естественный для всех, кроме Венеры Милосской, порыв — коснуться мяча рукой. До тех пор, пока мы добровольно взваливаем на себя иги необъяснимые, как рифма, вериги, футбол останется собой, даже если в одной команде игроков вдвое больше, чем во второй, а вратаря нет вовсе.

Вопиющая простота правил говорит о непреодолимом совершенстве этой игры. Как в сексе или шахматах, тут ничего нельзя изобрести, или улучшить. Нам не исчерпать того, что уже есть, ибо футбол признает только полное самозабвение. Он напрочь исключает тебя из жизни

ни, за что ты ему и благодарен. Наслаждение приходит лишь тогда, когда мы следим за мячом, словно кот за птичкой. От этого зрелища каменеют мышцы. Ведь футбол неостановим как время. Он не позволяет отвлекаться. Ситуация тут максимально приближена к боевой — долгое ожидание, чреватое взрывом.

То, что происходит посредине поля, напоминает окопную войну. Бесконечный труд, тренерское глубокомыслие и унылое упорство не гарантируют решающих преимуществ. Сложные конфигурации, составленные из игроков и пасов, эфемерней морозных узоров на стекле — их также легко стереть. И все же мы неотрывно следим за тактической прорисовкой, зная, что настойчивость — необходимое, хоть и не достаточное, условие победы.

Иногда, впрочем, ты погружаешься в игру так глубоко, что начинаешь предчувствовать ее исход. Под истерической пристальностью взгляда реальность сгущается до тех пределов, за которыми будущее пускает ростки в настоящее. Ощущая их шевеление, ты шепчешь «гол» надеясь стать пророком. Но, как и с ними, такое случается редко и всегда невпопад. Футбол непредсказуем и тем прекрасен.

В век, когда изобилие синтетических эмоций только усиливает сенсорный голод, мы

благодарны футболу за предынфарктную интенсивность его неожиданностей. Секрет их в том, что между игрой и голом нет прямой причинно-следственной зависимости. Каузальная связь тут прячется так глубоко, что ее, как в любви, нельзя ни разглядеть, ни понять, ни вычислить. Конечно, гол рождается в гуще событий, но он так же не похож на них, как сперматозоид на человека.

Нелинейность футбола — залог его существования. В отличие от тех достижений, что определяются метрами и секундами, футбол лишен меры и последовательности. Гол может быть продолжением игры, но может и перечеркнуть все, ею созданное. Несправедливый, как жизнь, футбол и логичен не больше, чем она. Проигрывают те, кто знает, как играть. Выигрывают те, кто об этом забыл. Футбол ведь не позволяет задумываться — головой здесь не играют, а бьют, желательно — по воротам. Футбол — игра инстинктов. Только те, кто умеет доверять им больше, чем себе, загоняют мяч в сетку. Там, где цена поражения слишком велика, мы не можем полагаться на такое сравнительно новое изобретение, как разум. Тело древнее ума, а значит, и мудрее его.

Великий форвард, на которого молится вся команда, воплощает свободный дух футбола.

Как пассат, он носится по полю, послушны только постоянству направления. Его цель окзаться в нужном месте в нужное время, чтобы не пропустить свидание с судьбой. Гол кажется материализацией этого непрерывного движения, продолжением его. Но встреча двух тел неповторимой точке — все равно дело случая. И мы рукоплещем тому, кто способен его распознать к себе — не расчетом, а смирением, великой готовностью с ним считаться, его ждать, и стать.

ПИДЖАК ЗА ПЯТЬ ТЫСЯЧ

— **С**треляете?

— Бывает. Когда курить бросаю.

— А по львам?

— Не, разве что — уток в тире.

— Хотели бы на полигон? Ракетой жажнуть?

— Боже упаси!

Разговор не клеился, и я чувствовал себя неловко. Собеседник перевез меня через дорогу в своем красном «Чироки», разменял в валютном киоске сотенную, угостил капучино с текилой, а я упорно не соответствовал. Его изданию нужен был король гламура, я тянул на валета. К тому времени за мной уже тянулся длинный хвост глянцевого органов, но разве за Москвой поспеешь.

Постепенно вникая в капризную поэтику гламурной прессы, я понял, что попал в мир, знакомый с детства. Как в сталинской фантастике, тут не было денег. Вернее, их было столько, что

никто не считал. Коммунизм, наконец, добрался до нашей родины, победив, как и обещал, в одной отдельно взятой стране — той, которой нет. Только в ней уважающий себя москвич не выходит из дома, без пиджака за пять тысяч. (В Америке тот же журнал, но по-английски советует одеваться на барахолке.) Я знаю лишь одного человека, который может себе позволить такой пиджак, но он звонит из автомата и обедает бутербродами. Собственно, поэтому я и не верю, что гламур существует для богатых — зарабатывать им интереснее, чем тратить.

Все сложнее. Гламур превратил потребление в зрелищный спорт. Мы не едим, а смотрим, как едят другие — в жемчугах и смокингах, в лимузинах и тропиках, на серебре и лайнерах. Мы им даже не завидуем, потому что они ничего не скрывают в отличие от прежних вождей, предававшихся своим унылым оргиям за колючим забором. Когда из рухнувшей ГДР показали секретный притон тамошнего ЦК, западные соотечественники никак не могли поверить, что распалившейся фантазии немецких коммунистов хватило лишь на буфет с молдавским коньяком и бассейн в бункере.

Распущенный гламур оперирует с иным размахом. Пропустив среднее звено достатка, он шагает по облакам, засеянным звездами. Одни

из них (свои) ближе других, но все смотрят вниз, добродушно подмигивая. Гламур — своего рода телескоп, сводящий небо на землю. От этой оптики портится зрение. Кажется, что мечта располагается сбоку от действительности. Достаточно позвать, и она прыгнет на колени — в виде грудастой негритянки из «Плэйбоя» или подноса с породистым виски из соседствующей с ней рекламы.

В сущности, и здесь нет ничего нового: родной жанр бесконфликтного соцреализма, где лучшее всегда побеждает хорошее. Та же незатейливость целей и простодушие средств, но полиграфия несравненно выше. В ней все — дело: хорошая печать застит глаза. Реализм якобы художественного образа создает иллюзию верного хода. Отечественная жизнь в своих высших — гламурных — проявлениях достигла всемирного уровня, догнав Америку и перегнав ее вместе с другими более цивилизованными странами. Гламур стал протезом эмоций. Он позволяет сопереживать чужой жизни, ничего не делая для того, чтобы она стала твоей.

Столь привычный статус преображенной вымыслом действительности создает столь же обманчивый контекст для всего остального. Логика гламура подчиняет себе информацион-

ное пространство, пользуясь тем, что другого, в чем нас убедили постмодернисты, и не осталось.

Приехав в Москву, я, как всегда, включил телевизор в отеле. Интеллигентный диктор программы «Культура» уговаривал меня вместе со всем культурным человечеством отпраздновать некруглый юбилей Гейнсборо. Каналы попроще делились сплетнями о Пугачевой, Жириновском, Мадонне и королевском дворцеком.

В мое время телевизор был честнее. Брежнева показывали среди сноповязалок, Америку — среди стихийных бедствий, Европу — на баррикадах, Африку — разрывающей цепи. Официальному миру была присуща тотальная стилевая однородность. Поэтому на него и не обращали внимания.

Сейчас иначе. Разбавив все важное мыльной оперой, гламур придает реальности зыбкий, картонный, декоративный характер. На этом смазанном фоне любая новость кажется такой же приметой естественной нормы, что мода, спорт и погода. Все, как у всех: бестселлеры и шампунь, любовники и демократия.

ИНОРОДЦЫ

Я вырос в слишком красивом городе: культуру в нем заменял пейзаж, к которому нечего было прибавить. Любая попытка вроде новостроек оборачивалась вычитанием. Подавленные окружающим, мы придумали себе оправдание: всеобщую теорию компиляции. Открытие состоялось в Колонии Лапиня. Так назывался район огородов, спрятавшийся в странной близости от центра. Поделенная на аккуратные клетки земля лучилась здоровьем и цвела флоксами. Одолев несерьезный штакетник, мы, осторожно огибая клумбы, проложили путь к съедобному и расположились надолго.

— Все уже сделано, — говорил мой друг, — все уже сказано, все написано. И это прекрасно. Складывать новое из старого — единственное занятие для аристократов духа.

Ошеломленные открывшимся богатством и разморенные простительной теперь ленью, мы закусывали украденным огурцом, не замечая

опасности. Между тем нас окружили сухопарые латыши, вооруженные намотанными на руку ремнями.

Чтобы рассеять недоразумение, надо сказать, что латыши пили не меньше нашего, но всему предпочитали пиво — ведрами. Погуляв, дрались по-черному — пивными кружками, куда сыпались выбитые зубы. Это не мешало им любить цветы, без которых в Риге редко обходились даже на службе.

Нас спасла умеренность в хищении — и репутация: от русских другого не ждали. Поэтому я не удивился, узнав треть века спустя, что президент довоенной Латвии любил повторять:

— *Sukas ir musu nakotne.*

— «Свиньи — наше будущее», — скорбно перевел я обидное, думая, что Ульманис имел в виду русских. Но оказалось, что он и впрямь говорил про свиней, поставлявших лучший в мире бетон.

— Свиньи — теперь не те, — печально сказал мне приятель.

— Русские — тоже, — жизнерадостно возразил я, обобщая свежие впечатления.

Все годы разлуки Латвия присутствовала на дне моего сознания. В перестройку, боясь худшего, Рига виделась русским Гонконгом — запасным островом свободы, на случай, если ее

опять отберут. Потом я прикидывал, не выйдет ли из Балтии Тайвань, поражающего материк экономической предприимчивостью. Вместо этого, пока меня не было, Рига тихо вернулась в Европу.

По родным улицам я гулял со смутным ощущением, что все это я уже видел, но не наяву. В нашем дворе у бывшей помойки стоял «Мерседес» с неукраденными дворниками. Дом, где принимали мучавшую меня в пионерском детстве макулатуру, оказался шедевром ар нуво. Диетическая столовая, где так славно разливалось под столом, торговала всем, что льется, но посетители пили кефир. На месте памятника Ленину стоял невзрачный концептуальный монумент, изображавший мироздание. Супермаркет был норвежским, автозаправка — финской, а в опере пели Вагнера. Зато знакомых книжных магазинов не осталось и в помине. С четвертой попытки я нашел нужную лавку, чтобы с деланой небрежностью спросить:

— Есть ли у вас книги Гениса?

— Последняя осталась, — уважительно ответил продавец, вынося «Книгу рекордов Гиннеса» за 10 латов.

Маскируя зависть обидой, я вышел из магазина, бурча про себя — «мещанский рай».

Соотечественники так не считали. Тем более что, оказавшись национальным меньшинством, они не перестали быть большинством фактическим. Перебравшись в Европу, Рига оказалась единственной в ней русским городом, хотя и не без латышского акцента. В концертном зале, где в мое время выступал Ростропович, шли гастроли группы «Lesopovals». Несмотря на латиницу, пели они по-русски — на фене. Пожалуй, этим, если не считать «лимоновцев», и исчерпывался имперский экспорт в Латвию. Даже на вокзале я не нашел московских газет. «Спроса нет», — извинялся киоскер и был, похоже, прав. В Нью-Йорке русские больше интересуются Путиным, чем в Риге. Наверное, потому что в Латвии власть ближе. Тут у каждого есть знакомый депутат сейма. Да и законы принимают у всех на виду. Иногда — разумные. Мне, например, понравилось, что владельцам приморских вилл запрещают ставить сплошные заборы.

Сократив дистанцию между обиженной частью народа и обижающей ее властью, Латвия достигла неожиданного статус-кво. Русские борются за свои права, в глубине души боясь, чтобы им не помогла бывшая родина. Осколки империи учатся обходиться без нее. Став собой, а значит — другими, заграничные рус-

ские могут выбирать из общего наследства лишь то, что очень нравится: борщ, «Лесоповал», Пушкина.

Со стороны, впрочем, нельзя судить, кто прав в этой игре. Изнутри это понять еще труднее. Политика, однако, существует не для того, чтобы искоренять противоречия — она позволяет жить с ними.

Привыкнув быть инородцем в трех странах двух континентов, я смотрю в будущее легкомысленно. Сдается мне, что следующее поколение рижан будет говорить не на двух, а на трех языках. Охотней всего — по-английски.

ЛИТЕРАТИ

«**Б**лагородный муж, — учил Конфуций, — не служит двум князьям».

Поэтому при смене династий ученые уходили в горы, чтобы читать старые стихи и писать новые. Исчерпав политику, мандарины становились отшельниками и называли себя «литерати».

Дело в общем-то знакомое. До сих пор, входя в русский дом, я нахожу любую книгу не глядя. Библиотеки одинаковые, как жизнь — эзотерическая, изысканная, утонченная, ненужная: хочу все знать и ничего не уметь.

— Господи, ну откуда нам знать, мы за колхозы или против?

На заре свободы было иначе. Тогда считалось все понятным — где взять тару, кого выбрать депутатом, как обустроить Россию в пятьсот дней, не забив гвоздя.

Возможно, такое тоже бывает. Вацлав Гавел однажды сказал:

— Каждый чешский писатель умеет своими руками построить дом.

— А неписатель? — спросили его.

— Тем более, — удивился президент.

У нас иначе. Я видел, как наши литераты под-
ходили к накренившейся власти. Жальче всех
было Синявского. Храня честь вечного дисси-
дента, он был против того, за что всегда борол-
ся. Чтобы объясниться, понадобились три лек-
ции в Колумбийском университете, к которым
он готовился у нас в гостинной.

Эмоция сомнений не вызывала, а подробнос-
тей я не запомнил. Наши убеждения сходи-
лись в главном, но кончались на Пушкине. Его
кумиром был Бабель, моим — Платонов. С по-
литикой я так и не разобрался. Расхождения
Синявского с советской властью носили стили-
стический характер и не исчезли оттого, что
коммунисты оказались в оппозиции. Андрей
Донатович по-христиански простил врагов, и
даже заставил себя им поверить, но разделить
их язык было выше его сил. В чужой среде ли-
тераты могут жить либо молча, либо перестав
быть собой.

Не это ли произошло с Лимоновым, которо-
го так любили те же Синявские? Чтобы литера-
тура не мешала политике, он избавился от по-
эзии. А ведь в юности Лимонов, звавшийся тог-

да Савенко, переписал от руки пятитомник Хлебникова, снабдившего нотами его авангардную лиру. Читая (листая) то, что пишет Лимонов сегодня, я не узнаю автора, которого немало знал в Нью-Йорке, чуть-чуть — в Париже и несколько — в Москве.

Дело в том, что политика исключает условность, необходимую искусству, но пагубную для речей. Художник никогда не говорит напрямую то, что думает, оратор только и делает, что уверяет в этом свою аудиторию. Чтобы заняться одним ремеслом — попроще, надо отказаться от другого — посложнее.

Сдается мне, что все лимоновцы — неудавшиеся поэты, обманутые вождем, в котором разочаровались музы. Поэт-расстрига, как падший ангел, больше всего ненавидит изгнавший его парадиз.

Несовместимость литературы с властью проявляет себя произвольностью убеждений. Политические взгляды выбирают сознательно, под гнетом обстоятельств. Вкусы рождаются невольно и умирают они лишь вместе с нами.

Собственно, поэтому я прячу глаза, когда московские друзья говорят о живой политике. Если мы и спорим до хрипоты, то слишком быстро переходим на личности, например — Беккета. В этом кругу его знают лучше Пугина.

Это, конечно, неправильно — несправедливо к своей судьбе и родной истории. Я тоже хочу, чтобы политику делали понятные мне люди. Теперь, впрочем, такое случается. Когда один мой товарищ вышел в большие начальники, в стране сразу появилось 250 профессиональных культурологов. Раньше они водили экскурсии по ленинским местам.

Власть тут вроде не причем, но путь к ней меняет походку. Наверх идут юля и оправдываясь, тщательно запоминая дорогу обратно. Даже те, кто добрался до вершины, умело следят, чтобы их не путали с завсегдатаями. Двусмысленность этих телодвижений выдает неискренность порыва. Литерати не даются жесты, особенно те, что выражают непреклонную веру в свою победу.

Как-то я играл в волейбол на американском пляже. После каждой подачи, к чему бы она ни приводила, команда собиралась в кружок у сетки, чтобы подбодрить себя боевым кличем: «Хэй, хэй — Ю эС Эй». Рот я открывал вместе со всеми, но слова проглатывал, как при пении гимна. От расправы меня спасли пуэрто-риканские болельщики.

Я вспомнил об этом эпизоде, выпивая с министром. Мы познакомились еще тогда, когда нам обоим такое не снилось. Власть придала

.....

ему обаяния, и он щедро им делился: матом ругался по-русски, стихи читал по-английски, анекдоты рассказывал еврейские. Надо думать, что не этот набор привел его в кабинет, зато с ним проще вернуться обратно, если портфеля не станет.

Мы понимали друг друга, потому что вышли из одной норы, хотя и занимали в ней несхожие апартаменты. В этом пыльном убежище царили странные нравы, но они нам нравились. Здесь все помнили, когда вышел первый сборник Мандельштама, и думали, как это делал Бродский, что Политбюро состоит из трех человек — считать проще.

В свете перемен норная жизнь поблекла, но не утратила своего матового блеск. Просто нора стала глубже, и жителей в ней поубавилось. Многие выползли наружу. Кто-то окошел. Кого-то забыли, или — забили. Но истребить литератури нельзя, как нельзя стереть культуру. Она возрождается после анабиоза, словно замерзшая в арктических льдах инфузория. Всегда помня о родной норе, литератури не умеют жить без оглядки. Стоит ли удивляться, что им редко верят избиратели. Во всяком случае, те, что не собираются в горы.

ТЕЛЕРОМАН

Хотя мой отец долго работал в авиации, он всегда был человеком сугубо земным, предпочитающим всему остальному фаршированную рыбу и смешливых блондинок. И все же лучшую часть жизни он, как ангелы, провел в эфире. В России отец жил на коротких волнах. Они уносили его вдаль, не отрывая от родной почвы. Магия западного радио преобразовала отечественную действительность, давая ей дополнительное — антисоветское — измерение. Не мудрено, что отец знал все лучше других, особенно, когда приходил его черед вести политинформацию. Кривя душой, он знал правду, счастливо живя в двух мирах сразу. Главное было их не путать, но как раз с этим у отца были трудности, которые и привели его в Америку.

Оставшись наедине с голой однозначностью, отец затосковал, как новообращенный атеист: в Америке правду не прятали, ее не было

вовсе. Опечаленный открытием, отец сменил эфир на рыбалку, оставив привычку толковать реальность в обидном для нее ключе.

Ему никто не мог помочь. Мне еще не приходилось встречать человека, которого бы не обманула свобода. Я, например, ждал от нее худшего. Считалось, что в обмен на волю Запад потребует от нас кровавого пота. Со сладострастием будущих мучеников мы распинались в готовности мести американские улицы, еще не догадываясь, как трудно попасть в профсоюз мусорщиков.

Свобода не подвела: она оказалась и лучше, и хуже, чем о ней думали. Я учился ее ненавидеть, глядя в голубой экран. Господи, как меня бесила реклама! Бунтуя против мира, где счастье приходит в дом с новой сковородкой, я как-то сказал Довлатову:

— Будь Америка мне родиной, я бы взрывал телевышки.

— Что тебе мешало это делать дома? — спросил Довлатов, и я охладел к терроризму.

Более того, со временем я научился любить рекламу за композиционные вериги. Целенаправленная, как проповедь, и хитроумная, как акростих, она ставит перед автором ту головоломную задачу, с которой не справлялись дома — убеждать обиняками.

Оценив хитрость телевизора, я стал относиться к нему с уважением. В экран ведь влезает очень маленькая часть реальности, а кажется, что — вся. Секрет телевидения еще и в том, что его проще освоить. Живая картинка больше похожа на мир, чем мертвые буквы, но врет она также. Причем в каждой стране по-своему.

Я убедился в этом, включая телевизор там, куда меня заносило. Даже на непонятном языке он выдает сокровенные тайны народной души и подспудной фантазии. Так, в Рио-де-Жанейро есть канал, где всегда показывают триумфы бразильской сборной — голы здесь забивают только в чужие ворота. В Мексике героини сериалов обычно блондинки. Лишь Катманду оставил меня в неведении: в отеле не было телевизора. Я строго указал на промашку хозяину, но он ловко выкрутился:

— Видите ли, сэр, — (напрасно я надеялся, что меня будут звать «сагибом»), — в Непале еще нет телевидения.

Пока я осваивал чужой эфир, мой отец в него вернулся. До его дома в Лонг-Айленде дотянулась невидимая (точнее — видимая) рука Москвы, и он стал забрасывать удочку через забор, чтобы не отрываться от экрана. Жизнь отца приобрела вожделенную двусмысленность. Мир его вновь делился на две неравные части. Меньшая питала

.....

тело, бóльшая — ностальгию. С тех пор, как отец смог следить за проделками Жириновского, для Америки он был потерян. Война для моего отца теперь шла в Чечне, своим мэром он считал Лужкова, даже об американской погоде ему рассказывали московские синоптики.

Как женщина в песках, телевизор сужает кругозор до тех пор, пока ты не перестаешь верить в окружающее. То, что за окном, кажется досадной частностью того, что на экране.

Глядя на отца, я вывел эмигрантский закон, жалея, что его нельзя перевести на латынь для важности: «Где телевизор, там и родина». Но сам я не тороплюсь возвращаться, и отечественное ТВ смотрел только в гостях у отца на семейных праздниках.

То, что я видел, не слишком отличалось от того, что я уже видел. Наверное, в этом вся хитрость. Телевизор имитирует преємственность, зачаровывая стабильностью. Ничего, в сущности, не изменилось. Завтра — это вчера. Смерть неизбежна, но вечна жизнь, попавшая в капкан повтора. Пусть канул таинственный, как масонский заговор, «Экран социалистического соревнования», зато остался в неприкосновенности державный баланс добра и зла. Если в деревне нет водопровода, то у ветеранов есть мобильники. Если нет дорог, то есть Интернет.

Если есть недостатки, то всегда отдельные. И как гарант незыблемого порядка в каждом выпуске новостей по русскому обычаю трижды показывают поцелуй Кремля: озабоченного Путина.

По старой памяти я привык считать однообразие тотальным. В мое время на одну советскую власть приходилась одна антисоветская. Собственно, от этой унылой арифметики я и сбежал в Америку. Одни говорят — за колбасой, другие — за свободой, третьи — за выбором, позволяющим выпасть из большой общей жизни в маленькую, но свою.

Я все прощаю американскому телевидению просто потому, что его много. Даже в дни национальных катастроф или празднеств американский телевизор оставляет лазейку для любителей пирогов и пышек, поклонников гольфа и покера, сторонников садоводства и однополрой любви. Есть у нас даже звериный канал для моего сибирского кота Геродота, но он, перепутав полушария, интересуется только пингвинами.

ЖАЛОБЫ ТУРКА

— Народовластие! — напрямик, как Штурман Жорж у Булгакова, врезался в склоку потомственный гусар и профессор. — Когда четыре пятых горячо поддерживают президента, демократия санкционирует диктатуру.

— За Брежнева голосовали 99 процентов, но мы же не считали выборы гласом народа.

— И зря. Vox populi — vox dei, а человеку там делать нечего.

Наш диалог разворачивался в декорациях, максимально приближенных к отечественным. В этом северном штате течет Русская речка, стоит малолюдная Москва, здесь водились Солженицины, боровики и слависты.

Последние встречались чаще всего, во всяком случае — мне. Местные их не отличают от остальных, беззлобно терпя чужие ритуалы. Что не так просто.

Зимой еще ничего, а летом слависты тучами слетаются на костры, чтобы до рассвета петь

сталинские песни. Музыку знают все, но только самые непримиримые помнят слова. Привыкнув называть Россию «совдепией», они не признают перемен, и никому — после Колчака — не верят. С молодежью у них нет ничего общего, кроме языка, конечно, — английского. С русским — безнадежно. Если письмо начинается «Уважаемый господин», его бросают, не читая («Так, — учил меня секретарь Бунина Андрей Седых, — обращаются к лакеям, порядочному человеку пишут «многоуважаемый»). С литературой — не лучше. После Куприна все не в счет. Иногда, правда, исключение делается для Шолохова: все-таки — казак.

По понятным, увы, причинам их — удалых и хлебосольных — осталось немного. Но и уходят они с завидной решительностью. Один днем пригласил к ужину, а к вечеру умер.

— Где стол был яств, там гроб стоит, — твердо объявили домашние. Для покойного современником был скорее Державин, чем Евтушенко.

На место вымирающих приходит смена «ботающих по Дерриде». Они тоже поют сталинские песни, но не путаются только в припеве. Новую Россию они знают лучше, а любят ее еще меньше — по взаимности. Не покидавшие отечества коллеги не могут простить тем, кто на это решился, общего предмета занятий — родины.

.....

Даже мне трудно не разделять негодование. Изучать Россию из-за границы — все равно, что тушить пожар по переписке.

Отжатая от свинцовых мерзостей культура поступает за рубеж готовой к употреблению (в диссертацию). Этот дистиллированный продукт удобен в обращении, но кому-то ведь приходилось расплачиваться за его производство. Природным иностранцам еще можно забыть их университетский комфорт, но свои слишком хорошо знают, от чего они избавились.

В принципе русская — как и любая другая — культура принадлежит каждому, кому нужна. Но на деле есть право первородства, которое эмигранты норовят увезти с собой вместе с чечевичной похлебкой.

Такое не может не раздражать. Поскольку у меня самого рыльце в пуху, я и не жалуюсь, только удивляюсь — силе чувств и непредсказуемости их выражения. Навещая Москву, я хожу как марсианин в прозрачном скафандре. Со мной говорят, всегда помня, откуда я приехал, и не совсем понимая, для чего.

Незнакомые беседу начинают дружелюбно:

— Как ты пристроился, новый американец?

Старые друзья режут правду в глаза, хорошо хоть об Америке:

— Буш? Наелся груш?

Других вопросов не задают, да и на эти ответы не ждут, стремительно переходя к родным новостям о начальстве. Все, что надо знать об Америке, тут и без меня знают, остальное — от лукавого. Да я, честно сказать, и сам о ней забываю уже в Шереметьево — то ли была, то ли снилась. Россия — страна самодостаточная и центростремительная, чем она и напоминает мне Лимонова.

Я навестил его, когда тот жил в Париже наедине с портретом Дзержинского и фраком, идущим нобелевской церемонии. Подробно поговорив о своих французских успехах, Эдик перебил себя из вежливости.

— Ну что мы все обо мне да обо мне. Как там у вас в Америке? Что говорят о Лимонове?

Примерно так рассуждает русская пресса, часто ошарашивающая меня заголовками вроде «Киркоров завоевывает Голливуд».

По-моему, эти патриотические утки — симптом геополитического невроза. Америка по-прежнему присутствует на дне национального сознания, но на поверхность всплывает лишь только тогда, когда американцы, сами об этом не догадываясь, горячо соперничают русским интересам. Пусть любят, пусть не любят, пусть боятся, пусть жалеют, пусть завидуют, пусть премирают, пусть бранят, пусть учат, пусть игнори-

руют (конечно, демонстративно) — лишь бы помнили. Непереносимо одно забвение, которое Америка уязвляет чужую душу больше, чем всеми своими амбициями.

Когда Хрущев посетил Америку, Аджубей написал: «Москвичей будит радиозарядка, нью-йоркцев — урок русского языка».

Я сам в это верил, пока, к сожалению, не вырос — с помощью той же Америки, преподающей болезненный урок безразличия. Не только к нам, ко всем без исключения. Переводы составляют всего три процента от всех выходящих в стране книг. Да и их читают, чтобы узнать, за что иностранцы любят или — чаще — не любят американцев. Америка ведь тоже самодостаточна и эгоцентрична. Она тоже окружена зеркальными стенами. Ей тоже все равно, о чем говорят по ту сторону, если говорят не о ней. А между двумя не замечающими друг друга дежавунами толпимся мы, ненужные свидетели унижения, твердо знающие, что Киркоров завоеует Голливуд только тогда, когда прилетит в Лос-Анджелес на летающей тарелке.

БЕСЫ: ОТЦЫ И ДЕТИ

За Достоевского я взялся, когда узнал, что Саддам Хусейн читал его перед арестом. Меня волнуют книги, к которым обращаются в минуты кризиса. Американцы обычно выбирают Библию, но это мало о чем говорит, потому что у многих, чему я иногда завидую, иных книг просто нету.

Другое дело — мой друг Пахомов, который взял с собой в больницу Ветхий завет, чтобы хоть перед концом понять насоливших ему евреев. Операция, впрочем, прошла успешно (для Пахомова, не евреев).

Не зная, какой роман отвлек Хусейна от последних минут свободной жизни, я остановился на «Бесах» — на «Идиота» Саддам был никак не похож.

Последний раз я читал «Бесов», когда был не старше Ставрогина. Теперь мне столько же лет, сколько было автору. Ровесников всегда читать интересней, но в юности их слишком мало, да и

в старости немного, особенно — среди соотечественников. Так что приходится торопиться, не что Достоевский, собственно, и рассчитывал. Медленно его читать нельзя — как Акунина.

Книга ввергла меня в столбняк. Она была явно не о том, о чем мне всегда казалось. В пору юного инакомыслия у нас все знали, кого имел в виду Достоевский, но когда Политбюро исчезло, роман перестал быть пророческим. Бесы у Достоевского все-таки с направлением — идеалисты, готовые развалить державу, упразднив Бога. По-моему, в наше суровое время уже не осталось людей с такими широкими и непрактичными интересами. Разве что — Жириновский, но и он дает интервью «Плэйбою» за деньги.

Растеряв политическую актуальность, роман скукожился до детектива — с туманными мотивами и пейзажами: «Низкие мутные разорванные облака быстро неслись по холодному небу, очень было грустное утро».

Зато на месте романа идей прямо на моих удивленных глазах расцвела гениальная педагогическая комедия. Центральная фигура в романе вовсе не Ставрогин, которого ни один читатель не узнал бы на улице. Главный герой книги — учитель, Степан Трофимович Верховенский, воспитавший чуть не половину персонажей.

Написав свою версию «Отцов и детей», Достоевский схитрил: последних он ненавидит, первых — высмеивает. Но «отцов» он все-таки понимает лучше «детей», а любит уж точно больше. Хороший писатель знает, что лучший способ спрятать дорогие мысли от критиков — отдать их дуракам. В «Вишневом саде» глубже всех Гаев, в «Бесах» — Степан Трофимович. Только кто их слушает?

Взрослые герои «Бесов» (старыми их назвать у меня уже не поднимается рука) очаровательны своей беспомощностью. Кармазинов, в прозе которого «пищит в кустах русалка», губернатор Лембке, мастерающий игрушечную «кирху с прихожанами», Степан Трофимович, сочиняющий в глухой русской провинции «что-то из испанской истории», все они — последняя надежда нашей парниковой цивилизации. Только они и защищают ее от нового поколения, которое Достоевский зовет «бесами». Кошмар в том, что не только это, но каждое следующее поколение кажется предыдущему бесноватым.

Трагедия — в провале педагогических претензий, в невозможности эстафеты. Наследство пропадает втуне, ибо нажитое отцами добро оказывается злом в руках — и умах — детей. Либералы становятся террористами, шестидесят-

.....

ники — постмодернистами, правдоискатели «Идущими вместе».

Проверить Достоевского мне помог несчастный случай: я напечатался в одном молодежном журнале, выходящем в Бруклине.

— Смена растет, — с отцовской грустью сказал я себе, разворачивая бандероль со свежим номером.

Журнал открывал портрет его лучшего автора — девушки с тяжелой судьбой и челюсть Поэма ее называлась решительно: «Стань человеком».

— Метемпсихоз? — осторожно подумал я. Оригинально: в этой жизни — человек, в той членистоногое.

Раками, однако, в стихах не пахло. Даже пиве ничего не было, но на встречу с подписчиками я все же пришел.

— Легко ли быть молодым? — усыплял я бдительность сакраментальным вопросом, жалею, что не задал его Подниексу еще тогда, когда тышский портвейн мешал нам обоим решить эту проблему.

Оглядев с кафедры собравшихся, я увидел то, чего ждал: молодежь с голодными глазами в зале усердно жевали. (В Америке, где аппетит считают болезнью, все едят непрерывно, как бактерии.)

— Что рассказать вам, молодые друзья? — спросил я, надеясь скрыть отвращение.

— Что-нибудь.

— «Из испанской истории», — вспомнил я Степана Трофимовича, и стал объяснять про китайцев.

Трое ушли курить уже на Лао-цзы. Конфуций был немногим моложе, но его не дождалось еще пиетеро. Плюнув на подробности, я перескочил от дзен-буддизма к суши, опустив кама-сутру, чтоб не составлять конкуренцию поэтессе с честью.

Запыхавшись от разбега, я поправил бесспорно лишний галстук и предложил задавать вопросы. Их не было.

— Давайте, коллеги, — малодушно соврал я, — обсудим, поспорим.

Наконец, самый стеснительный не выдержал паузы:

— Скажите, пожалуйста, почему у вас очки на перевочке?

— Чтоб не падали, — ответил я, но бесы меня уже не слушали.

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ

Когда в суровом 90-м году я попал к пи-
терским друзьям, Ленинград выглядел
не лучше, чем в блокаду. Свет в витринах не го-
рел, но смотреть все равно было не на что. Бы-
стро освоившись с сиротливыми окрестностя-
ми, мы пришли в гости, набив портфель базар-
ным продуктом. И правильно сделали. Хозяйка
прямо растерялась:

— Мы не миллионеры, чтобы есть яйца!

Несколько лет спустя, наученный опытом, я
посетил тот же дом уже не с портфелем, а с
мешком, но меня справедливо сочли неопасным
идиотом, запуганным в Америке. На этот раз хо-
зяйка, чтобы замять неловкость, пустилась в от-
кровенность:

— В Париж едем — надеть нечего.

Навещая только русские столицы, я не знаю,
как живет провинция. Говорят — ужасно.

— Дети к поездам выходят — хлеба просят, — же который год рассказывает одна москвичка, циркулируя между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Меня, правда, смущает, что в Америку поезда не ходят, и железную дорогу она видела только в детстве.

Я не берусь судить о других, но с моими знакомыми такое бывает. Чем круче катится жизнь, тем она выглядит наряднее: раньше на даче растили укроп, теперь — чайные розы. А ведь знакомые у меня те же — интеллигентная рвань, разве что пьют реже, предпочитая французское.

Еще в школьном учебнике меня удивляла парадоксальная эволюция общественных формаций. Каждая перемена к относительно лучшему шла к абсолютному обнищанию трудовой массы. Помня причуды родной диалектики, я понимаю, что говорить об этом не принято, но все-таки скажу: жить стало лучше, и уж точно — веселей. Один Жванецкий чего стоит.

— Не чуешь ты, инюродец, боли народной, — печалится расчетливый Пахомов, даже в Квинсленд знающий, почему фунт чужого лиха.

— Ну а ты за кого бы голосовал?

— За Ку-Клукс-Клан.

— О вкусах не спорят, — выкручиваюсь я, но моя остаться при своем мнении.

Когда революция идет так давно, уже в равно, чем она кончится — лишь бы сохранился вымученный статус-кво. Жизнь прорастает сквозь всякий режим, который не выдергивает ее с корнем. Ей, в сущности, все равно и как избирается власть, и как она называется, хоть горшком, лишь бы в печь не сажала.

Труднее всего с этим примириться интеллигенции, но и она справится. Только не сразу.

Перед выборами в Думу я все спрашивал:

— Скажите, сколько там будет наших?

— Треть, — твердо отвечали мне сведущие люди, — плюс-минус — два процента.

Итоги им были известны заранее по голосованию в Интернете.

Президентом я уже не так интересовался. Голоса считали среди московских абонентов мобильных телефонов. Выходило — Ходковский.

— Раз мы страшно далеки от народа, пусть с пеняет на себя, — с облегчением решил отстраненный от дел умственный класс.

Не сумев стать оппозицией, он вновь превратился в фронду, устроив себе площадку у таревшего, как я, молодняка на страницах уцелевшей либеральной прессы. Ей, как последним самураям, выпала благородная задача: стеречь уже ничего не меняющую свобо-

слова. И не потому, что она еще пригодится, а потому, что, в общем-то, только такая и была нужна.

Упразднив политику, жизнь развязала. Рестораны в Москве открываются сегодня с той же помпой, с какой раньше — журналы. Иногда их делают те же люди.

В Москве я любил жить в «Пекине». Недорого, а все-таки — Восток. К тому же это — последний в мире отель с письменным столом, предательским графином и передвижниками. Принимая за холостяка, администрация всегда выделяла мне номер с «Аленушкой».

Первый раз я попал туда за день до гайдаровских реформ, сделавших нынешнюю жизнь возможной. Вернувшись в «Пекин» к рассвету, что мною бывает только в Москве, я полчаса колол в двери с лживой табличкой «Мест нет». Мое меня ждало, но сперва надо было разбудить швейцара. Он появился лишь тогда, когда я уже решил скоротать остаток ночи в вытрезвителе. Как все бывшие пионеры, я, конечно, боялся швейцаров, но Запад излечил эту советскую фобию — в Америке их почти не осталось. Поэтому, горячий учиненным дебошем, я, не удовлетворившись достигнутым, принялся читать лекцию о наступающем послезавтра капитализме, который все расставит по своим местам —

включая швейцаров. Внимание собеседника поддерживал дешевыми рублями, которые он снисходительно прятал в карман мятой ливре.

— От каждого по способностям, — излагал своими словами четвертый сон Веры Павловны, — каждому — по труду, но — в конвертируемой валюте.

Шли годы. Сперва сняли красные флаги, потом — реформаторов. В гостинице «Пекин» открылся ресторан «Гонконг». В моем номере место стола занял сейф с табуреткой. Но по-прежнему на этаже дежурила коридорная. Теперь она берегла не мою нравственность, а свою откровенность для «Боржоми», понимая, что без нее у нее не останется ни труда, ни способности к нему.

Швейцар тоже не изменился, хотя и выглядит моложе. К дверям он так и не выходит, но выучив мой урок политэкономии, встречает одиноких постояльцев у лифта:

- Мужчине нужна компания?
- Аленушка?
- Это уж, как скажете, — гостеприимно развел руки швейцар, но я остался верен передвижникам.

НАУКА УМЕЕТ МНОГО ГИТИК

Мой симпатичный собеседник, специально выбравший соседнее кресло в летевшем через океан «Боннге», чтобы ничто не мешало обстоятельному интервью, начал его с тщательно заостренного вопроса:

— Когда вы врете?

— Всегда, — быстро ответил я, вводя его в ступор.

— Ага, — наконец просиял он. — Все критяне — лжецы, — сказал критянин.

Раскусив парадокс, мой образованный интервьюер потерял интерес к своему делу, и мы перешли на дармовую финскую водку, разумно заменив ею оставшиеся нерешенными проблемы.

Дело в том, что врать проще всего с глаз на глаз: попробуйте честно ответить на вопрос «Ты меня уважаешь?» Труднее обманывать по телефону: в трубку не скажешь «Меня нет дома». Но самое честное средство связи, как по

казало исследование охотившихся на человеческие слабости американских психологов — электронная почта. Как и обыкновенная, она оставляет неопровержимые следы. Написанное слово становится вещественным доказательством, и электронная память хранит его куда надежнее человеческой. Зная об этом, ты невольно тормозишь перед очередным обменом, понимая, как легко компьютеру припереть тебя к стенке.

Вернув нас в эпистолярную эпоху, прогресс оживил и некоторые из ее архаических пережитков, вроде привычки отвечать за сказанное, хотя бы — за написанное.

Единственный способ избавиться от этого сомнительного, как хвост, атавизма — не отвечать на письма, что и делают многие мои знакомые.

— Эфир, — справедливо рассуждают они, — дело темное, а наука умеет много гитик, на которые можно списать дефицит учтивости.

Сперва я свирепел, прекращая отношения с теми людьми (и их органами), что пренебрегали перепиской. Но потом понял, что, как это чаще всего и бывает, сам во всем виноват. Дорвавшись до мгновенной связи, я трактовал ее как дешевый телеграф, исчерпывающий послание точной информацией и шуткой. Между тем

и такой манере общения заложено неуважение к собеседнику, вынуждающее его к той степени определенности, которая превышает национальную норму.

Говорить, что надо, и отвечать, когда спрашивают, — достоинство компьютера, а не человека. Особенно — русского, привыкшего плавать в придаточных предложениях, словно щука в кувшинках.

Ограниченная логикой машина и нам навязывает беспрекословный выбор между «да» и «нет» — правдой и кривдой. Жить не по лжи легче всего транзистору.

Но где ян, там и инь: все то вранье, которое правдивый компьютер изымает из нашей жизни, ей возвращает лукавый Интернет. На заре его эры (а ведь еще помню время, когда жили без телевизора, который молодые считают ровесником динозавров) каждое путешествие в кибернетическое пространство казалось приключением, причем пикантным. Анонимность провоцирует двусмысленность.

Возможно, поэтому, первый раз выйдя в Сеть, я окрестил себя Snowball (отечественным Интернетом тогда еще была гласность). Назвавшись Снежком, я поменял не только имя, но и пол с расой: знойная негритянка с южным — маскирующим русский — акцентом. Создав фан-

томную личность, я подчинил себя ее привычкам, о которых, впрочем, не знал ничего определенного.

Тем дело и кончилось. Я охладел к Интернету, когда убедился, что электронное общение живо напоминает столичную тусовку: множество малознакомых людей встречаются друг с другом без надежды и желания познакомиться ближе. Разница лишь в том, что в Сети не наливают.

Чем дольше я живу в XXI веке, тем больше мне хочется обратно — в какое-нибудь доиндустриальное столетие, когда разговор считался королем развлечений, когда каждое предложение было законченным, мысль — извилистой, период — длинным, юмор — подспудным, слова — своими, внимание — безраздельным, слух — острым. Когда искренность не оправдывала невежества и паутину ткали ассоциации, а не электроны.

Уйдя из Интернета, я в него вернулся, когда тот стал русским. Первая настигшая меня в эфире кириллица несла благую весть:

— Кайф на халяву? Нюхай хрен.

С тех пор, набрав свою фамилию, я — как, подозреваю, и все авторы — регулярно совершаю «эго-трип» по родной Сети, чтобы узнать о себе всю правду. Не всегда она ею бы-

вает, тем более — лестной, но иногда Интернет все-таки оплачивает затраченные на него усилия. Однажды я вырвал из него щемящий комплимент. Немолодой, еще помнящий наш соавторский дуэт поклонник оставил на электронных полях свой честный отзыв: «Вайль и Генис — четвероногий друг русской словесности».

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ

77% жителей России ненавидят богатых!

Эта поразительная цифра живо напомнила героя гласности, с которым мне довелось делить трибуну на конференции в Японии. Как и все подобные мероприятия тех эйфорических времен, она называлась оптимистически: «Россия на переломе». Соседи хотели знать, куда упадут обломки, и не жалели денег, чтобы разведать подробности. Ими делились многословные эксперты, привезенные за десяток часовых зон с разных сторон света, но только один из нас располагал цифрами, которые он величал фактами. Без спешки выслушав предварительные аплодисменты, ученый торжественно обнародовал данные обширного социологического опроса, стоившего больше, чем хороший бомбардировщик.

— 99,7% опрошенных, — сказал он, — готовы принять демократию и рыночную эконо-

мику, если они принесут им богатство, свободу и счастье.

На этот раз я вышел, не дождавшись пока смолкнут овации успокоенного зала.

Статистика не врет, она изобретает правду — вместо действительности. Если даже слова не способны отразить реальность, то что взять с чудосочной цифры, умеющей лишь мелко кланяться обстоятельствам?

В сущности, все, что поддается счету — от трудовой до выборов — лишено смысла, но не оправдания. Иначе мы не умеем. Поэтому мне и хотелось бы встретить хоть кого-нибудь из тех 13%, которые не не любят богатых. Хорошо бы узнать, что они с ними делают: нежат, лелеют, перпят, едят сырыми?

Я еще никогда не видел, чтобы богатых кто-нибудь любил, включая их самих. Ближнего позлюбить трудно, дальнего — невозможно, и только Христос сумел простить сытого мытаря (говоря по-нашему, инспектора налоговой полиции).

Оно и понятно. Бедного грешника вынести проще, чем богатого праведника: последнему легче устоять перед искушением, чем первому милать его. Поэтому — открою, рискуя огорчить патриотов, секрет полишинеля — богатых не любят везде, а не только в России.

— Деньги, — учит меня Пахомов, — не люди, они не бывают глупыми и не идут к нам в руки.

— Не знаю, не знаю, — сопротивляюсь я, — мне и такие попадались. Правда, не дома, а в Сан-Тропезе, большая часть которого собирается в гавани, чтобы смотреть на меньшую, швартуящую свои миллионные яхты. С одной из них сошла отчаянно скучающая пара в ковбойских сапогах и пухлом золоте. Стремительно оглядев голодранцев (лето!), они выдернули из толпы себе подобного и повели на борт хвастаться. Не умея себя занять ничем другим даже в древнем Провансе, они ездили по свету в надежде узнать, что другие делают с деньгами.

— Думаю, Пахомов, — заключил я, — что «новые русские» отличаются от птицы киви тем, что они не эндемичны и водятся в любых широтах, разбрасывая попутно гроздь гнева.

Дело в том, что никто не понимает, откуда берутся большие деньги, которыми мы называем почти любую сумму, превышающую наши доходы. А все необъяснимые явления — либо чудо, либо жульничество. (Отличить одно от другого как раз и есть промысел мытарей.)

Открывший коммерческий эффект нефти Рокфеллер к старости так изнемог под грузом своего первого в истории миллиарда, что заказал у монетного двора настоящую (а не метафо-

рическую) гору 10-центовых монет. Раздавая их детям, он надеялся купить улыбку бедняка. Но Америка (как Россия — с Ходорковским) примирилась с этой фамилией только тогда, когда одного Рокфеллера таки съели папуасы Новой Гвиней, из которой он успел вывезти дивную коллекцию масок, украшающую нью-йоркский музей Метрополитен.

Неся свой крест, богатые тоже плачут. Ведь ни одной насущной проблемы деньги решить не могут. Зато когда денег нет, все проблемы — насущные.

Но не только это объединяет одних с другими. Бедные хотят, чтобы богатых не было. Богатые трудятся, чтобы не было бедных. Они мешают друг другу, но деться им, как двум сторонам одного листа, некуда. Все ведь относительно.

Я, скажем, приехал в Америку состоятельным человеком. Залогом безоблачного будущего были дипломы — и мой, и женин — «Уменьшительные суффиксы у Горького». На черный день у нас хранился слесарный набор, купленный в магазине «Умелые руки» с до сих пор не оправдавшимися намерениями, и неограниченный запас эмигрантской манны — быстрорастворимых супов югославского происхождения «Кокошья юха». Все остальное ловко укладывалось в ежедневные три доллара, которые

выдавала благотворительная организация — на метро и сигареты («Прима» кончилась). Спички в Америке бесплатные, музеи, если день знать, — тоже.

Устроившись с комфортом, я стал разнообразить щедрый досуг знакомствами, среди которых оказался и удачливый земляк. Мы встретились с ним в трудную минуту: нью-йоркские власти подняли цену на метро, он купил поместье в Коннектикуте.

— Мосты обвалились, — горевал мой знакомый, — и конюхам не плачено.

Ему и впрямь было хуже, потому что я люблю ходить пешком.

ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ

*И сюда нас, думаю, завела
не стратегия даже, но жажда братства.*

И. Бродский

В парижские магазины поступила партия американских джинсов. На каждой паре — ярлык с французской надписью: «Мы не виноваты, что наш президент — идиот. Мы за него не голосовали».

Того, кто отвечает за эту проделку, до сих пор не нашли. О чем горько сожалеет глава фирмы, который хотел бы его продвинуть по служебной лестнице: штаны мгновенно разошлись.

Не могу сказать, что меня эта история радует, хотя я тоже не голосовал за Буша. Однако с Америкой, как с евреями: ее хочется ругать только среди своих.

И та, и другая ситуация мне хорошо знакомы. К тому же я уже жил в одной «империи»

зла», и, переехав в другую, не обнаружил разницы. И там, и здесь мне почему-то приходилось отвечать за выходки властей, которые я не выбирал.

Когда советские войска вошли в Афганистан, русские таксисты Нью-Йорка выдавали себя за болгар. Когда туда вошли американцы, мой друг Пахомов задумчиво заметил:

— Похоже, я обречен жить в стране, которая воюет с Афганистаном.

Его это, однако, скорее радует. Будучи человеком бескомпромиссно штатским, он любит рубашки с погончиками. Со мной сложнее. Никогда не зная, что делать, я всегда радуюсь, что не мне решать. Заняв тесный промежуток между «голубыми» и «ястребами», я получаю с обеих сторон, еле успевая менять щеки.

— Государство, — учит меня Пахомов, — вроде микробов: оно стремится заполнить собой все не отведенное ему пространство. Так уж лучше это будут наши микробы. Американские, — пояснил он, подумав.

Это, конечно, неправда. Американцам не нужна империя, потому что они хотят жить дома. Даже любимая их война — Гражданская, между Севером и Югом. В нее до сих пор играют. Если янки и готовы расширяться, то только в индивидуальном порядке — за счет кока-колы

и чипсов. Когда Америке снятся плохие сны, к ней присоединяется Канада, когда кошмары — Мексика.

И в Ирак американцев привела не страсть к имперской географии, а история — та, которой у нее не было: романтический XIX век с его мифом «крови и почвы». В отличие от европейских, американские романтики вроде моего любимого Торо жили не в воздушных замках, а в лесу. Все остальные задержались в XVIII столетии. Америка до сих пор живет теми универсальными категориями, которыми Маркс соблазнил Россию.

— Мимо рта не пронесешь, — верят американцы, игнорируя исключения, чреватые взрывами.

Это трудно понять, в это трудно поверить, но самые большие идеалисты здесь не левые, а правые: скорее Пентагон, чем хиппи. Наиболее опасное заблуждение Америки состоит в том, что, соорудив себе богатую страну из конституции, американцы думают, что знают, как это делается не только дома, но и за границей. Поэтому враги зовут их «глупыми», а друзья — «лишенными воображения».

Боятся, впрочем, и те, и другие, идеализм — вроде куриной слепоты, болезнь не смертельная, если не водить танки ночью.

Должен признаться, что я тоже против войны. Как все пацифисты — из шкурных интересов и невеселых принципов.

— Помочь никому нельзя, — говорил я, когда соседи заворачивались в нарядные звездные флаги.

— И спасти никого нельзя, — думал я, представляя, чтобы стало с Россией, если б Америка решила избавить ее от Сталина. Помните прогрессоров у Стругацких: «Я нес добро, и — Господи! — как они меня ненавидели».

Человек слишком сложное существо, чтобы ставить на нем облагораживающие эксперименты. Поэтому я, послушавшись Вольтера, решил возделывать свой садик. Выдрав из клумбы чужие петунии (на войне как на войне), я зарыл в землю дюжину семечек, надеясь для начала украсить тыл подсолнухами.

Дальше пошла арифметика. Первые пять пропали — я не знал, что за мной следили белки. Другие взошли. К трем стебелькам я привязал карандаши, помогавшие им ровно расти. Неделю спустя те, что обходились без поддержки, обогнали инвалидов.

— Ага, — сказал я, напыжившись от многозначительности, — благо в недеянии: главное — ни во что не вмешиваться.

А утром самостоятельный росток упал на землю со сломанной ногой.

— Ага, — повторил я с уже меньшей уверенностью, — мироздание живет вне морали, ему всё — все равно, но шансов у нас — половина.

Цветка, однако, было жаль, и я одолжил ему костыль. Прошла еще неделя, и калека оправился. Он опять всех перерос, став крепче прежнего, несмотря на уродливый шрам у щиколотки.

Сказать мне, однако, больше нечего. Не понимая, какую притчу мне рассказывают, я молча гляжу в назидательную грядку, надеясь, что природа не отменила, а отложила нравоучительный процесс — то ли до урожая, то ли до следующих выборов.

**ПОСТМОДЕРНИЗМ:
ПОБЕДА РАЗУМА
НАД САРСАПАРИЛОЙ**

Я убежден, что самое интересное в России можно прочесть на ее стенах. Приятель клянется, что вокзал в его городе украшала надпись «Ленин кыш, Ленин пыш, Ленин кындырмыш».

— Но это когда было, — обиженно говорили мне друзья, обвиняя в заморском злопахательстве.

— Всегда. Еще не прокричит петух, как вы трижды раскаетесь.

— Где мы возьмем петуха на Невском?

Сошлись на том, что я докажу свою правоту, не пересекая перекрестка. Уже на пятом шагу мы увидели над подъездом рукописный плакат: «Продаются яды». Все тетрадные лепестки с телефоном оборвали жаждащие.

— Вот и хорошо, — обрадовались товарищи, — тебе своего хватает.

Я победил в споре, потому что у меня был ранний опыт стенной словесности.

Дело в том, что мой литературный дебют состоялся в рекламном бюро, которое размещалось в живописном, как всё в Риге, проходном дворе. Начальником там по совместительству служил наш видный ученый, автор монографии «Ян Судрабкалн и вечность». В кабинете он повесил шедевр своей рекламной продукции: «Наши конфеты слаще сахара».

— Что ж тут хорошего? — не удержался я.

— Самогон, деревня, — разочаровано сказал он и сухо объяснил обстановку. Кроме карамели из обещанного в том году изобилия до Риги добрались только телевизоры.

— Наша промышленность, — излагал мой босс, — выпускает телевизоры двух размеров: нормального и ненормального. Большие нужны всем, маленькие — никому, поэтому последних делают столько же, сколько первых. Понятно?

— Нет.

— Значит, не идиот, — успокоился он, — работаемся.

Убедить покупателей, решил я, может только математика, хотя она мне и не давалась. «Размер экрана по диагонали, — выводил я блудливой рукой, — обратно пропорционален расстоянию от телевизора до дивана». Перечитав полу-

чившееся, я вставил для убедительности квадратный корень. Теперь даже я не знал, что должно получиться в ответе, но никто не спрашивал.

— Лженаука, — восхитилось начальство, — не хуже кибернетики.

Через неделю моя формула нашла себе место в настенной рекламной афише. С тех пор я твердо знаю, что только откровенную ложь печатают большими буквами.

Нынешняя реклама мне нравится больше. Как армянское радио, она оживляет бытие абсурдом. Особенно — когда себя не слышит: «Покупайте кондитерские изделия фабрики «Большевичка». На рынке — с 1899 года».

Или не видит. Когда я в последний раз смотрел телевизор в Москве, мне больше всего понравилась холодная красавица «с косой до попы». Глядя в камеру русалочьими глазами, она обещала покупательницам «несравненное увлажнение».

— Не такая уж она русалка, — заинтересовался я, но, дослушав девицу, узнал, что речь шла о шампуне.

Несмотря на частые приступы слабоумия, реклама завоевала завидный престиж в России. Считается, что она может все. Например, сделать любого писателя классиком — быстро и не-

дорого. Мне рассказывали, что еще недавно место в списке бестселлеров обходилось автору всего в сто долларов. Раз нефть дорожает, то и слава теперь, надо полагать, стоит больше, но — ненамного.

Секрет русской рекламы в том, что с тех пор, как реклама заменила идеологию, переименовав лозунг в слоган, а дух — в материю, ей не верят, но полагают всемогущей.

Мир, привыкший считаться только с вымыслом, легко убедил себя в безмерной пластичности окружающей среды. Доверяя лишь собственным фантамам, он наделил рекламу тем волшебным могуществом, которое раньше приписывали себе вожди, а теперь все, кому не лень.

В этом торопливом мареве каждое заметное явление — от Путина до самого Пелевина — кажется продуктом сверхъестественной рекламной технологии, результатом информационного насилия над потребителем, победой, как говорил О. Генри, разума над сарсапарилой.

Самовлюбленные мастера пиара с незатейливостью Гарри Поттера куют репутации, убеждая (чаще всего — себя) в своей власти над действительностью.

Не зря из всех философских течений в новой России легче всего прижился постмодернизм — как самый близкий к марксизму. И тот,

и другой не считает реальность реальной, а значит — окончательной. Перерабатывая первичное сырье во вторичное, постмодернизм заменяет твердое зыбким, настоящее — виртуальным, вещь — ее видимостью.

Во всяком случае, так ему кажется. По моему — напрасно.

Жизнь обладает куда большей инерционной массой, чем думают ее манипуляторы. Она весьма умело сопротивляется попыткам заменить себя мыльной оперой. Даже Голливуд, этот «Уралмаш» грез, не умеет убедить нас в универсальности своих претензий. Каждый большой успех — неожиданный. Каждый большой провал — тем более. Будь иначе, зрителя можно было бы упразднить вовсе.

ЕСЛИ ТЫ НЕ МОНТЕ-КРИСТО

Футбол — это серьезно. От крика кот переехал на балкон. Жена льстиво пытается соответствовать:

— Здорово этот рыженький пыром.

Ничто другое меня пока не интересует. Когда говорит футбол, пушки молчат. Во всяком случае, я их не слышу. Газет не открываю, к телефону не подхожу, радио не включаю, даже компьютер услужливо сломался. Удалившись в коммуникационное изгнание, я берегу свое неведение.

Дело в том, что из презрения к футболу американское телевидение показывает матчи с двухдневным опозданием в неудобное время на испанском канале. Чтобы раньше времени не узнать счет, я живу в позавчерашнем дне, и он мне нравится.

Сила незнания творит свою реальность, детали которой можно выбирать по желанию, словно завтрак за «шведским столом». Стирая

все, что не нравится, невежество стерилизует действительность. Шопенгауэр давно утверждал, что мир — лишь наше о нем представление, но на практике я убедился в этом благодаря футболу. Впрочем, люблю я его не только за это.

Ископаемый пережиток, в век глобализации футбол дает безопасный выход животному — и потому бесспорно искреннему — патриотизму. Во мне он работает за двоих. Иногда мне приходилось болеть сразу за обе исторические родины. Вынужденный разделить симпатии, я решил, что в латышском футболе мне нравится футбол, а в русском — болельщики: на трибунах их много, и выглядят они, как все — по-разному. Раньше на зарубежных стадионах сидели всегда одни и те же люди в строгих мятых пиджаках. Зимой и летом они дисциплинированно скандировали: «шай-бу».

Что говорить, советский турист за границей был ее самой экзотической деталью. Как, впрочем, и я для них.

Это выяснилось на эгейском пляже, возле циркового шапито с фанерными зверями. Неподалеку от льва загорал его укротитель. На меня он смотрел не моргая, но решительный разговор у нас, как у Остапа Бендера со Скумбриевичем, произошел вдали от суши. Бронзовый атлет плыл за мной мощным брасом, я (от него)

как умел, то есть по-собачьи. Преодолев в три рывка разделяющую нас часть очень синего моря, он отрывисто спросил по-русски:

— Твой «Ягуар»?

— Мне кажется, — ответил я, с трудом вынырнув, — что хищники по вашей части.

Речь, оказалось, шла о запаркованной на берегу машине, которые я умею отличать только по цвету. Но циркач мне не поверил. Он твердо знал, что эмигранты не станут продавать родиму по дешевке.

В другой раз встреча состоялась в Индии, где я от умиления примазался к экскурсии латвийских ткачих из Огре. Вычислив чужого, одна бодрая старушка прошептала не оборачиваясь:

— Доллары менялись?

— Как?

— Дизайном, — прошипела она, — у меня с 28-го года пачка осталась.

Из всех преступлений советской власти лично меня больше всего задевали две частности. Первая — не давали Джойса прочитать, вторая — мир посмотреть.

Более способные искали выхода на непроторенных путях. Интеллектуалы покупали «Улисса» на эстонском, спортсмены объявили лыжный пробег по ленинским местам, включая

Швейцарию. (Власть рассудила иначе, отправив лыжников кружить по Разливу, пока не наберется нужный километраж.)

Сейчас, однако, мне все это видится в ином свете. Если вы не граф Монте-Кристо, жажду мести утоляют прошедшие годы, и я уже не уверен, что прежний режим отнимал, ничего не давая взамен.

«Улисса», скажем, не знали ведь и те писатели, которых я так любил и в юности. Еще вопрос, смог бы я восхищаться Гладилиным, если бы читал его вместе с Джойсом.

С географией тоже не все просто. Она ведь стала куда проще, чем была. Все теперь похоже: еда и нравы, магазины и товары, враги и кумыры. Только флаги у всех свои, ну и футболки, конечно.

ИНОСТРАНЕЦ ФЕДОРОВ

Театр — старосветская причуда. Нормальные американцы готовы за него платить лишь тогда, когда на Бродвее выступают полсотни длинноногих блондинок, живой слон или настоящий вертолет. Нью-Йорк, однако, — такой Вавилон, что труппа любой страны соберет себе зрителей-соотечественников.

Однажды я пришел на спектакль Бергмана пораньше, чтобы не стоять в очереди за наушниками, но оказалось, что только мне и нужен был синхронный перевод. «Полным-полно шведов», — вспомнился рассказ Колдуэлла, но их оказалось больше, чем я думал, когда усаживался на приставной стул. Возле сцены пустовали более соблазнительные места, и я уже намылился проскользнуть к ним в темноте, как ударил гуш и в облюбованную мной ложу вошел шведский король с адъютантами и аксельбантами.

На премьере театра Фоменко в Линкольн-центр не было только короля, но лишь потому,

что у нас не сложились отношения с монархией. Когда русский Нью-Йорк заполнил зал, выяснилось, что наушники опять никому не нужны, кроме моей смешливой соседки. Забравшись с ногами в кресло, она жевала бутерброд, хохотала до упада и искренне хотела знать, чем все кончится. Неосмотрительно прочитав «Войну и мир», я знал, чего ждать. Следя без ажиотажа как актеры, часто сверяясь с книгой, добросовестно пересказывают Толстого его же словами, я думал о постороннем. Меня занимал вопрос, почему в «Войне и мире» говорят по-французски?

Школа настаивала на том, что герои романа на родном языке говорят искренне, а на чужом как придется. Поэтому, дескать, Пьер объясняется с Наташей напрямик, а с Элен — галльскими обиняками. Это, конечно, — чушь. В книге все так перемешано, что Кутузов говорит по-французски, а Наполеон даже думает на русском. Не верю я и тому, что на заре XIX века русскому человеку не хватало глубины и изящества. Пушкину хватало. Остается одно: будучи все-таки реалистом, Толстой показал все, как было: бессистемный варваризм.

Боюсь, что лучше всего графа мог бы понять Брайтон-Бич, который, сам того не зная, подражает русским аристократам, путая языки без нуж

ды и смысла. Чужое слово здесь передает лишь тот шарм, которого недостает родному понятию. Ну, например, латинскими буквами брайтонская мывеска обещает посетителю «Сарруссино», а кириллица честно переводит — «Пельмени».

Интеллектуалы работают тоньше, рассчитывая придать вескости своим суждениям за счет иностранного наречия. Именно так изъясняется мой друг Пахомов:

— Winter, как говорят американцы, — старательно произносит он, враз исчерпав зимний запас английского (летом Пахомов пьет пиво молча).

Эта глубокомысленная манера мне живо напоминает гламурную речь глянцевого журнала. Сперва я с трудом понимал, что пишут их авторы, но только потому, что опознать знакомое английское слово мне мешал еще более знакомый алфавит. Теперь стало проще, и я лихо перевожу всяких «плееров», «мундиалы» и «контрибьютеров» туда, откуда они пробрались в русскую прессу — обратно, в английский.

Раньше было хуже. Дело в том, что эмигрантские авторы часто бывают пуристами. Боясь выдать себя среди соотечественников, они иногда чересчур стараются, как это случилось с Набоковым. В его «Даре», скажем, машины заправляются на «бензопое», а красавицы проносятся с

«легким девичьим топотом». Зная об этом, я, готовясь к первому после 13-летнего перерыва визиту в Москву, учил расцветший без меня язык старательней американского шпиона. Вооружившись самодельным разговорником, из которого можно было узнать, что такое «прибамбасы», как застегиваться «на ежика» и кому мешают «шнурки в стакане», я без страха окунулся в родную речь и был тут же наказан за самомнение. Уже в аэропорту меня ждал плакат, упоминающий Растаможку и Обезличку.

— Если добавить к этой паре Чебурашку, — робко поделился я догадкой с встречающими, — можно снять постмодернистский мультфильм «Три сестры».

— Сразу видно, чему вас, дураков, в Америке учат, — ласково сказали друзья, махнув на меня рукой.

Оставшись без переводчиков, я сам постигал азы новой речи. Пересыпанная чужими терминами, она напоминала указы Петра Первого, читать которого труднее, чем Ивана Грозного. В обоих случаях радикальная реальность требовала новых слов, и их щедро вводили, беря где попало.

Но сегодня вскормленные плодами просвещения популярные авторы уже говорят на языке не деловом, а модном. Простодушно испещряя ино-

странными словами страницы якобы русских журналов («Яхтинг»), они чувствуют себя гражданами мира, не покидая Бульварного кольца. Английский — тавро избранности, знак принадлежности к тем, кто его понимает, помогающий отгородиться от тех, кому этого не дано.

В описанную Толстым эпоху таких было со-рок тысяч, да и сейчас вряд ли больше. Однако именно в этой среде, наконец, рождается завещанный нам Ломоносовым «средний штиль» — свободный язык непринужденного дружеского общения.

Странно только, что этот язык — английский.

вгорелых парней пришли пополудни на заре моей американской жизни. Приветливо представившись, тот, что постарше, спросил, с какой стороны я знаю Довлатова.

— С хорошей! — начал я, развивая ответ в литературоведческом направлении.

Второй, соскучившись на метафорах, не отрывался от телевизора, где, к моему стыду, ревелись Том и Джерри. В конце концов, агент не выдержал и попросил сделать погромче его (и мой) любимый мультфильм.

Расстались мы друзьями. А недоумению моему положил конец эмигрант-старожил, объяснивший визит происками конкурентов, которым не давал покоя наш «Новый американец».

— Впрочем, — добавил он, — это было относительно бескорыстный поступок. Раньше русским американцам платили по сто долларов за донос. Когда бумаг накопилось слишком много даже для сенатора Маккарти, гонорар сократили вдвое. Но бюджету мера не помогла, потому что число доносов тоже удвоилось. Наши, — заключил добряк с ностальгической улыбкой, — всюду одинаковы.

Простота арифметики поколебала мою веру в тайную войну, уважение к которой питали фильмы про Джеймса Бонда. Реальность ведь куда более фантастична, чем ему казалось.

Могущество американской разведки, скажем, опиралось на дотошный анализ печатной информации. Правду из советских газет вымогали приемами, которые и не снились тюремщикам Абу-Грейб. Отточенная десятилетиями методика помогала аналитикам ЦРУ высчитать процент невыполнения плана до третьего знака после запятой. Беда в том, что отечественная промышленность обходилась мнимыми числами.

Первого числа каждого месяца Рижский завод микроавтобусов, который я студентом оберегал от пожара, получал премиальные. При этом на все стадо машин приходилось два карбюратора. Их переставляли с одного автобуса на другой, пока приемная комиссия играла в шахматы.

Неудивительно, что победу в «желедной войне», которая обошлась Америке в лишнии триллион долларов, предсказал один Солженицын.

О том, что и с этой войной не все в порядке, я догадался с ее первого дня, когда операцию по освобождению Афганистана от талибов в Вашингтоне назвали нарядно — «Крестовым походом». Это все равно, что дать миротворческой акции кодовое название «Варфоломеевская ночь».

День спустя «крестоносцев» отменили, но сомнения в мудрости компетентных органов

остались. Им мешает противоречивая природа информации: чем ее больше, тем труднее найти нужное.

— Лишнее — враг необходимого, — говорил Ницше, но мы ему не верили.

Ведь мы привыкли не доверять любой секретной полиции, считая ее чересчур могущественной. В этом ее сила. Власть кормится нашей подспудной уверенностью: в этом безвыходном мире есть хоть кто-то, кто все знает. У него большая голова и длинные руки — смесь осьминога с Андроповым.

За это мы не любим органы.

За это мы их боимся.

За это мы их уважаем.

Сложнее всего справиться с мыслью о том, что они не умнее нас. Себя-то мы знаем.

Медовый месяц меня угораздило провести в соседнем Каунасе сразу после студенческих волнений, о которых я, занятый другим, узнал лишь тогда, когда в гостиничный номер вошел без стука небритый мужчина в тренировочных штанах со штрипками.

— Душ не работает, — сурово сказал я ему, приняв за водопроводчика.

— И телефон, — зловеще добавил он, видимо, на тот случай, если я решусь позвонить в ООН.

После чего вошедший показал красную книжечку, неотличимую, кстати сказать, от той, что мне выдали в пожарном депо вышеупомянутого завода, и стал задавать в высшей степени туманные вопросы.

Воспитанный в нормальной диссидентской семье, я еще пионером готовился к этому моменту. Выпрямившись, как академик Сахаров, я приготовился к бою, но вести его по давно вызубренным правилам мне мешал синтаксис — его отсутствие. Считая «бля» союзом, мой собеседник не справлялся с грамматикой, и я решительно его не понимал, пока меня не осенило: он хочет того же, чего и я — опохмелиться.

Трусливо достав из чемодана чудом уцелевшую от свадьбы бутылку, я молча отдал ее за свободу и чинно отправился с молодой в музей — смотреть Чюрлёниса.

ГВЕЛЬФЫ И ГИББЕЛИНЫ

— **У**ж лучше Сталин, чем Буш!

— Который? — заинтересовался я.

— Любой, — легко ответила Эллен, ловко уворачиваясь от мужа, пытавшегося отнять у нее стакан.

Для американцев пара была странная. Билл служил адвокатом для дезертиров, говорил японски и собирал грибы(1). Эллен предпочитала неразбавленное, числилась в предках второго президента и ненавидела всех последующих. В свободное время она издавала книги о преступлениях американского правительства.

Мы подружились на пикнике в День Независимости. Свой национальный праздник они отмечали, как мы — Первое мая: потешаясь над властью. Здесь были актеры и музыканты, евреи и арабы, вегетарианцы и лесбиянки. Здесь не было военных и республиканцев, охотников и скорняков. И еще здесь не было ни одного

американского флага, хотя левые в Америке считают себя не меньшими патриотами, чем правые.

Они искренне любят родину, и делают все, чтобы ей насолить. Короче — наши люди.

С американскими диссидентами мне проще найти общий язык, потому что они не отличаются от русских — та же смесь задора, угара и паранойи. Вопреки очевидному, это — чрезвычайно оптимистическое мировоззрение: защищая от хаоса, оно позволяет всегда найти виноватого и никогда не скучать. Надо сказать, что фанатичная любовь к свободе делает и первых и вторых нетерпимыми к третьим — инакомыслящим. В этой среде понимают только своих, потому что других тут и не бывает.

— Не стоит, — говорил Довлатов друзьям, — жаловаться на то, что они нас не пускают в литературу. Мы бы их не пустили в трамвай.

Я ведь и сам был таким. В юности мне не приходило в голову, что генералы владеют членораздельной речью. Серый шлейф власти покрывал все ее неблизкие окрестности, вызывая безусловную реакцию. То, что нравилось начальству, автоматически исключалось из сферы моих интересов. Одержимый беззаботным безумием, я не читал Толстого, не слу-

шал Чайковского и не смотрел Репина, считая их тайными агентами политбюро. У меня не было пионерского детства, и я до сих пор не знаю, как назвать по-русски самку октябрёнка.

Казалось бы, мне самое место среди американских ястребов, которые разделяли все мои взгляды на коммунизм, кроме крайних. Именно это обычно и происходит с русскими в Америке. Например — с моим отцом.

В России, давая отвращение, он вешал на стены репродукцию Джексона Поллака, неаккуратно (такому — все сойдет) вырезанную маникюрными ножницами из журнала «Польша». В Америке на первые деньги отец с облегчением купил звездно-полосатый стяг и клетчатые штаны. Портрет Рейгана ему достался даром — его прислали товарищи по партии.

Мы с ним даже не спорили. Мои противоземные убеждения отец считал хронической болезнью вроде язвы, только — социальной.

— Уж лучше Сталин, — говорил он, когда я голосовал за демократа Дукакиса.

— ...или Брежнев, — добавлял он, когда Клинтон с моей помощью стал президентом.

Имя Путина отец не произносил всуе, уважая любую власть, кроме беззубой.

Мне тоже обидно, что в семье не без урода, но я ничего не могу с собой поделаться. Мои политические взгляды определяют те же фрондерские импульсы, что и в молодости. Поставленный перед выбором, я всегда отдаю предпочтение тому, что лично меня, в сущности, не касается — вроде войны или гомосексуальных браков. Что не мешает мне обладать непоколебимой уверенностью в своей правоте.

Скажем, право на ношение оружия мне представляется глупым, а право на аборт — бесспорным. Смертную казнь я бы отменил, а образование бы оставил. Я понимаю Бога в церкви, но не в политике. Экология мне кажется важнее цен на бензин. И я с подозрением отношусь к каждому человеку с флагом, даже если он живет в Белом доме.

В этом стандартном, как комплексный обед в заводской столовой, либеральном меню нет ничего такого, чего бы я не мог обосновать рассудком. Но, честно говоря, делать это мне незачем. Не разум, а инстинкт подбивает меня выбирать из двух зол наименее популярное.

Возможно, это — врожденное, и гвельфы никогда не простят гибеллинов. Ведь партий, как полушарий головного мозга, всегда две: одна — за, другая — против.

— Даже у людоедов, — думаю я, глядя на моего друга Пахомова, — есть правое крыло.

С годами, однако, мои политические инстинкты стираются, как зубы, и я становлюсь консерватором. Если еще не в политике, то уже в эстетике.

— В Лондоне, — читал я как-то жене в газете, — сгорел ангар с шедеврами модных британских художников, включая того, что с успехом выставлял расчлененную корову.

— Ой, драма, — съязвила жена, и я не нашел в себе сил ее одернуть.

ЕСЛИ БЫ ПРЕЗИДЕНТ БЫЛ ВАШИМ РОДСТВЕННИКОМ

Демократия — темное дело. Она смешивает сознание с подсознанием в той пропорции, что делает ее скорее искусством, чем наукой. Чтобы понять, в какой мутной воде приходилось ловить рыбу кандидатам, возьмем, к примеру, одну семью — мою.

Отец, который ни от кого не скрывал своих убеждений (что, надо сказать, и довело его до Америки), был стойким республиканцем. Большой любитель поесть, он не снимал надписанной ему фотографии Рейгана с дверцы холодильника. Зная, что я не одобряю партийной принадлежности обоих, отец поклялся говорить со мной только о рыбалке.

С женой — сложнее. Предпочитая всем изданиям журналы мод, она всегда интересовалась нарядами первых леди, а не делами их скучных мужей. Все, однако, изменила война в Ираке. Следя за ней изо дня в день, жена за-

одно втянулась в предвыборную кампанию и стала столь азартным знатоком недостатков Буша, что решила отдать свой голос за его противника.

Наслушавшись семейных споров, мой брат пошел другим путем.

— «Чума на оба ваши дома», — процитировал он Шекспира и отправился голосовать за безнадежного кандидата от третьей партии.

И только моя мудрая мать, решив не встречать в политические дразги, приняла безответственное и всех примиряющее решение: она осталась дома печь пироги. Таким образом, наш небольшой, но вздорный клан исчерпал все варианты поведения избирателя.

Выбирая себе президента, Америка, в сущности, голосует за чужого человека, с которым она будет вынуждена следующие четыре года делить гостиную. Чтобы впустить в нее постороннего, американцы должны увидеть в нем родственника. Вопрос — какого?

Из всех президентов, которых я застал в Новом Свете, самым необычным был Джими Картер. По-моему он приходился Америке дядей. Порядочный, интеллигентный, толковый (физик), но слегка чудаковатый (на инаугурацию пришел в джинсах), немного не от мира сего, симпатичный идеалист и, конечно, неудач-

ник, Картер был тем любимым родственником, о ком не говорят с соседями.

Рейган выбрал себе куда более выигрышную роль: румяный, бодрый дедушка, калифорнийский Санта Клаус. Он очаровал Америку снисходительностью. Ему все прощалось, потому что и сам он готов был многое прощать. Деду строгость не положена: детей воспитывают, внуков балуют.

Старший Буш провел слишком много лет в тени Рейгана — под крышей Белого дома. Неудивительно, что когда пришло его время, он устроил тихий бунт. Если вице-президентом Буш являл собой образец лояльности, то, оказавшись президентом, он стал тем, за кого Рейган себя выдавал. Один говорил о религии, другой ходил в церковь. Первый рассуждал о важности семейных уз, второй окружил себя любящей семьей. От Буша исходила эманация пуританской строгости, замешанной на нованглийских добродетелях: терпение, настойчивость, трудолюбие, умеренность, хорошие манеры, спортивная честность, джентльменская щепетильность. Что не помогло этому Бушу задержаться в Белом доме. Возможно, ему мешал образ сурового отца, всегда готового прочесть нотацию разбалованным Рейганом избирателям.

Так и не освоив «искусство быть дедом», Буш-старший уступил Клинтону, которому возраст и поведение вроде игры на легкомысленном саксофоне позволяли играть лишь одну роль — брата, кому — старшего, кому — младшего. О том, насколько удачен был этот образ, говорят два президентских срока. Вооруженный неумным либидо, хрипловатым голосом и мальчишеской улыбкой, Клинтон сохранил симпатии Америки, сказавшей в разгар знаменитого скандала «Разве я сторож брату моему?»

С Бушем-младшим — все просто. Он так и называется «Буш-сын», конечно, — блудный. Пережив трудную борьбу с алкоголем, Буш нашел себе религию. Он не думает, а знает, что Бог есть. Убедившись на собственном опыте в том, что вера делает людей сильнее, а мир лучше, Буш сумел вернуться к семейному (президентскому) очагу другим человеком. И этого ему не забыла та — милосердная — часть избирателей, которая любит раскаявшегося грешника больше праведника, не знавшего искушения.

Если бы Джон Керри и стал президентом, то он все равно не сумел бы попасть в число кровных родственников Америки. Зная три языка, не считая немецкого, умея готовить бу-

айбес, разбираясь в старых винах и еще более старых картинах, читая наизусть Киплинга и Элиота, Керри слишком не похож на рядового американца, чтобы быть им. Поэтому он мог войти в семью избирателей только на правах зятя, но большая часть Америки не согласилась отдать ему руку и сердце.

СИНЯЯ БОРОДА

Собираться в Америку мы, как все, начали с книг, ибо в однотонный контейнер не влезали журналы, начиненные гражданскими опусами. Пришлось вырывать самое дерзкое: Лакшин, Тендряков, «Уберите Ленина с денег». Ободранные, как норки, листы нуждались в защите, и нам пришлось освоить ремесло переплетчиков. На обложки шел украденный в одной доверчивой конторе дерматин таежного цвета. Клеем служил сваренный бабушкой мучной клейстер. Его-то и обнаружили голодные нью-йоркские тараканы, когда багаж прибыл по месту назначения. Годами мы боролись с их алчностью, пока не переехали в чистый пригород.

Теперь знакомый запах будит лишь мой аппетит, когда я Синей Бородой спускаюсь в подвал, чтобы выбрать на ночь очередную жертву. Я знаю, что у моногамии есть свои сторонники. В Северной Каролине мне приходилось видеть целые магазины, торговавшие одной Кни-

гой. Сам я, однако, люблю гаремами, что не мешает мне быть одновременно всеядным и взыскательным. Придирчиво осмотрев спереди и сзади (чтобы познакомиться с тиражом и корректором), я пробую ее наугад. Впоыхах нельзя влюбиться, но можно узнать, стоит ли стараться.

Опыт помогает отличить ту, которая ломается, от той, что и сама бы рада, да не знает, как помочь. Так у меня вышло с «Поминками по Финнегану». Поверив на слово, я отдал им три месяца. В начале четвертого, уже дойдя до 11-й страницы, я решил разделить удовольствие с товарищами по несчастью. Они провели с книгой много лет, но проникли в нее не глубже моего. В определенном смысле я, зная, как и автор, русский, оказался в выигрышном положении. Это выяснилось, когда мне удалось расшифровать непонятное всему миру слово «MANDABOUT».

— Про это, — перевел я, зардевшись.

Устав от триумфа, я отложил Джойса на потом. Судя по тому, сколько книг там скопилось, «потом» — верная гарантия бессмертия.

В Риге у меня был знакомый старичок, замуравивший книгами свою квартиру. Войти в нее можно было не дальше прихожей, которую он делил с малогабаритными любимцами — утрем в

узком аквариуме и собачкой без хвоста. Несмотря на преклонный возраст, а вернее — ввиду его, он каждый день покупал по книге, рассчитывая с их помощью отдалить неизбежное. Мне чуждо суеверие. Я знаю, что умру, но верю, что не раньше, чем полюблю каждую — как папаша Карамазов.

— Обратного пути нет, — говорю я жене, ревнующей к библиотеке и подбивающей избавиться от балласта.

Сама она ищет в книгах пользу, читая из экономии одну и ту же: «Как реставрировать старую мебель».

— Вам нравится, — спросил мой наивный приятель, — реставрировать старую мебель?

— Нет, — удивленно ответила она, — мне нравится читать о том, как реставрировать старую мебель.

Это я как раз понимаю. У меня самого хранится «Товарищ юного снайпера». Всякий свод бесполезных знаний — как звездное небо, прекрасное и недостижимое. Не зря чаще всего я люблю энциклопедии. Большую советскую, правда, пришлось отдать в нехорошие руки после того, как там не нашлось статьи «Вьетнамская война». Она оказалась в томе на «А»: «Агрессия американской военщины против трудолюбивого вьетнамского народа». Зато мне до

.....

стался в наследство от одной вовремя развалившейся организации «Брокгауз».

— Хотите знать, как делается вобла? Кто же не хочет.

Неудивительно, что я держал все 90 томов под рукой, пока в кабинете не просели балки.

Воспользовавшись тревогой, жена бросилась в атаку. Я сопротивлялся, как мог:

— Что значит «читал»? Что значит «знаешь, чем кончится»? А родной изгиб сюжета? А то место, где Джордж уронил в Темзу свою рубашку, думая, что она чужая?

Но перед угрозой строительного коллапса жертвы были неизбежны. Прощаясь, я три дня составлял «список Шиндлера». Остудив сердце и спрятав от греха подальше любимый сталинский раритет — «В Нью-Йорке левкои не пахнут», я углубился в самые пыльные полки. Обреченных набралось с три сотни, в основном — стихи.

Дело не в том, что я их не люблю, суть в том, что их мало надо. Хорошего стихотворения хватает надолго, в идеале — навсегда. Поэтому я беру стихи в горы: спрессованное, как гороховый концентрат (отрада пионерского туриста), чтение. Остальные читаю дома — даже во сне. Знающее грамоту подсознание Фрейд бы назвал инверсией природы, но мне нравится этот вывих

души, позволяющий и ночью не расставаться с автором.

Новичком я презирал Белинского за то, что он, простодушно переписывая полюбившееся, еще кручинился: «Всего пересказать нельзя». Сегодня я его понимаю. О книгах надо писать, как о людях. Лучше всего мы помним тех, кто подставил подножку, вывел из себя и привел к иному. Даже лишенная событий жизнь испещрена такими встречами.

Пожалуй, только это и называется критикой. Другим занимаются евнухи. Не в силах любить, они знают о книгах все, кроме главного. Еще глупее те, кто читает, чтоб стать умнее.

— Эрудиция? Есть, чем хвастаться.

Знания, подаренные любовью, не требуют усилий: найдите в мире мальчишку, который бы не знал, что такое угловой.

ДЕНЬ ИНДЕЙКИ

Чтобы полюбить индейку, надо ее увидеть — живую и дикую. Однажды в лесу я чуть не наступил на нее и рад, что этого не сделал. Возмущенная птица вскочила на могучие, как у страуса, ноги, вытянула шею, развернула крылья и с гневным клекотом бросилась в атаку. С испугу она мне показалась размером с лошадь. Но и потом, когда мы уладили отношения, я не переставал поражаться ее статье. В диком индюке нет ничего от курицы. Индейки быстро бегают, неплохо летают и часто дерутся. Особенно холостяки, которые размножились в нью-йоркских окрестностях, и, чувствуя себя тут хозяевами, вовсю гоняют белок, канадских гусей и даже енотов.

Конечно, сегодня американцы обычно имеют дело с замороженными тушками из супермаркета. Но началось-то все как раз с диких птиц, спасших пилигримов от голодной смерти. Память об этом придает традиционной жар-

ной индейке на праздничном столе ритуальное значение. Это мясистая версия манны небесной, которую Бог, как считали благочестивые пуритане, послал праведникам, чтобы ободрить их в дни тяжелых испытаний.

В отличие от других мифов, этот мы не должны принимать на веру. История сохранила документированные свидетельства о самом первом Дне Благодарения.

Пилигримов принято называть духовными отцами нации, а их скромное торжество стало самым интимным праздником Америки. Уже четвертый век, в четвертый четверг ноября, в каждом американском доме разыгрывается мистерия на манер тех, которые знала и любила средневековая Европа. Сходство идет дальше, ибо в День Благодарения воспроизводится ключевой эпизод священной истории американского народа. В этот день выходцы из Европы заново скрепляют магическую связь с землей Нового Света.

Народы Старого Света растеряли свои корни в седой и легендарной древности. Их происхождение всегда находится за пределами документа, вне истории. Американцы же по именам знают своих предков, по дням и часам могут перечислить события своего прошлого. Нация, которая помнит свое рождение, так же необыч-

на, как человек, вспоминая обстоятельство своего появления на свет.

Приехав в Новый Свет, Набоков написал своей горячо любимой сестре письмо с признанием в любви к Америке. Кончалось оно так: «Страну эту я люблю. Наряду с провалами в дикую пошлость, тут есть вершины, на которых можно устроить прекрасные пикники».

Может быть, лучший из таких «пикников» — День Благодарения. Из всех американских праздников лишь он стал моим. Я, конечно, люблю Рождество, но мы с семьей его отмечали и в России. В этом была некая фронда, приближающая к Западу. Тем более что в Риге, где я вырос, рождественские традиции жили и в советское время.

Языческий хеллуин я научился праздновать уже в Нью-Йорке, но ничего специфически американского в нем нет: черти — везде черти. А вот 4 Июля так и остался для меня добавкой к уик-энду — праздник чужой революции, день ненашей независимости.

Зато последний четверг ноября — уж точно красный день в календаре любого эмигранта. Этот интимный праздник будто бы специально приспособлен для выяснения личных отношений с Новым Светом. Что я, собственно, постоянно и делаю.

Дело в том, что об Америке очень трудно писать честно. Нам ведь только кажется, что искренность — продукт волевого усилия. Чаще добрых намерений ей мешает беспомощность, дефицит даже не опыта, а концептуальных конструкций, выстраивающих его в умопостигаемый и внятный отчет. То, что я живу в этой стране треть века, скорее мешает, чем помогает.

Иногда мне кажется, что раньше я знал Америку лучше. Издалека она ничем не отличалась от всех стран, где я не бывал, — ведь я вычитал ее из книжек.

«Говорить о жизни на основании литературных произведений, — писал Роман Якобсон, — такая благодарная и легкая задача: копировать с гипса проще, нежели зарисовывать живое тело».

Книги мало что говорят о жизни, потому что они не имеют с ней дела — писателей интересует не норма, а исключения — Отелло, Макбет, Моби Дик...

В сущности, переезд через океан изменил ситуацию меньше, чем должен был бы. Даже живя в стране, я чаще всего сужу о ней по отражениям. Иногда умным, как в «Нью-Йорк таймс», чаще простым, как Голливуд. Самое сложное — проникнуть в обычную жизнь. Прозрачная, как оконное стекло, она не оставляет впечатлений.

Вспоминая сотни страниц, которые я написал об Америке, я поражаюсь тому, как в них мало американцев. Все больше — география с историей. Моя Америка пуста и прекрасна, как земля в самые первые дни творения.

«Америка, — говорил философ Сантаяна, — великий разбавитель».

На себе я этого не заметил. Видимо, есть в нашей культуре неразстворимый элемент, который сопротивляется ассимиляционным потугам.

Америка, впрочем, никого не неволит. Она всегда готова поделиться своими радостями — от бейсбола до жареной индюшки, но и не огорчится, если мы не торопимся их разделить: свобода.

— Свобода быть собой, — важно заключил я однажды, выпивая в компании молодых соотечественников.

— Ну, это не фокус, — возразили мне, — ты попробуй стать другим.

Это и впрямь непросто, да и кому это надо, чтобы мы были другими? Меньше всего — Америке. Она уважает различия, ценит экзотику, ей не мешают даже те чужие, что не желают стать своими. Но вообще-то ей все равно. Она не ревнива.

Пожалуй, именно за это я ей больше всего благодарен: Америка не требует от меня быть американцем. Конечно, быть собой можно воз-

де, но в Америке с этим все-таки проще. Только она дарит человеку высшую свободу – вежливое безразличие.

Каждый пользуется Америкой как хочет, и как может, и как получится. Не она, а ты определяешь глубину и продолжительность связи. Америка признает двойное гражданство души. И эта благородная терпимость оставляет мне право выбирать, когда, как и зачем быть американцем.

Спиленное в лесу — чтобы дольше стояло — дереве украсили жовтно-блакитные шары, революционно подсвеченные оранжевыми лампочками, оставшимися от потустороннего (Рождеству) хеллуина.

— Ты еще повесь на ветку глобус «Украина», — вскипел Пахомов, увидав мою недвусмысленную елку.

Будучи раскаявшимся великодержавным шовинистом, Пахомов уже презирает отчизну, но еще огорчается, когда ее становится меньше, чем было. Украина казалась ему слишком большой, чтобы так запросто отдать Европе.

Тем более что у той уже есть нечто похожее. Когда Украине хотят сделать приятное, ее сравнивают с Францией, имея, правда, в виду скорее Тартарена, чем Бонапарта. К тому же роман «Три мушкетера» похож на повесть «Тарас Бульба». Завидуя сытому жизнерадостному теплу, мы и в соседях видим себя, правда, в кривом зеркале: толще и с улыбкой. Поэтому и делить нам вроде нечего — разве что Гоголя.

— А Крым, — сердится Пахомов, — кому будет принадлежать?

— Каждому, — предположил я, — у кого хватит денег, чтобы слушать там Пугачеву.

— Демократия, — кричит Пахомов, — чревата гражданской войной.

- А диктатура — диктатурой.
- Панславянизм, — не утихает Пахомов, — «хоть имя дико, но мне оно ласкает слух». Чем хохлы удивят Европу? Жвачкой на сале?
- Нет, пропадут, — кручинится он, — наши хлопцы на чужбине.
- Как ты?
- Как все. Будто не знаешь, чем жизнь кончается.

Против лома нет приема. Когда Пахомов философствует, я слушаю молча, а думаю про себя.

Дело в том, что Украина мне не чужая. В пестром букете стран, которые я могу считать родными (среди них есть даже Румыния), ей досталось больше, чем другим. Одна моя бабушка не отличала Украину от России, другая считала первую причиной второй. Обе ссорились по всем поводам, кроме этого, говорили на суржике и считали Хрущева своим.

Я вырос в Киеве и думал, что знаю украинский, пока меня не разубедил коллега из нью-йоркской типографии с темным именем и смутным прошлым.

- Жінка, — сказал пан Чума при знакомстве, — лікує.
- Мы тоже рады, — осторожно согласился я — что выбрали свободу.
- She is a doctor, — перевел он для дураков.

Должен сказать, что не знавших русского украинцев я встречал только в Америке. Они держались вместе, пекли лучший в Манхэттене черный хлеб (в силу диких заблуждений он назывался «колхозным») и — в годы «холодной войны» — ставили антисоветский гопак «Запорожцы пишут письмо Андропову».

Среди моих друзей, однако, украинский знает лишь профессиональный одесский писатель Аркадий Львов. Рассказывая о своих успехах на родине, он так ловко смешивает языки, что его нельзя отличить от Тарапуньки и Штепселя.

Сегодня этот двухголовый, как герб, эстрадный гибрид представляет не столько прошлое, сколько будущее, ибо русские на Украине становятся двуязычным народом.

Чтобы ни говорил Пахомов, я не вижу в этом большой трагедии. Возможно, потому, что, безнадёжный провинциал, я даже в Нью-Йорке умудряюсь обитать на окраине (русскоязычной) империи.

Человеку, решусь сказать, идет жить в меньшинстве.

Каждая вывеска на неродном языке служит прививкой демократии — даже тогда, когда язык кажется не чужим, а двоюродным (по-чешски «черствыые окурки» значит «свежие огурцы»).

— Встречая с Пахомовым американское Рождество под оранжевой елкой, я горячо его убеждаю в том, что Европа — густо пересеченная чужими местность. Она — как хрустальная люстра на кухне коммунальной квартиры. Поэтому в такой цене важнейшее из искусств XXI века — умение делиться площадью с соседями.

— Может, и не плохо, — говорю я, — что, не дожидаясь, пока Россия отыщет свой, как это у нее водится, петлистый путь в Европу, миллионы русских пробираются туда — как могут и с кем попало.

— Et tu, Brute, за Ющенко, — устало ответил Пахомов.

ДЕЛЯНКА УТОПИИ

Христо, нью-йоркский художник болгарского происхождения, знаменит своими крупномасштабными произведениями. Это он заворачивал Рейхстаг, перекрывал занавесом горное ущелье, устанавливал зонты по обе стороны Тихого океана. На этот раз объектом его монументальной фантазии стал нью-йоркский Центральный парк, вдоль дорожек которого 600 помощников художника установили семь с половиной тысяч ворот, украшенных желтым нейлоном. Преображенный за 16 дней парк стал приманкой для миллионов туристов, торопящихся стать участниками самого большого в истории города хеппенинга. Покоренные успехом предприятия американские критики назвали проект Христо, к которому он готовился 25 лет, «первым подлинным шедевром XXI века».

(Из газет)

Философ начинает с того, что ищет дорогу к Богу. Не найдя ее (и Его), он удовлетворяется истиной, потом — правдой, за-

тем — справедливостью. Путь сверху вниз обычно кончается эстетическим компромиссом: вместо идеального бытия — его художественный суррогат, который в эпоху моей молодости назывался социалистическим реализмом. Лучше всего ему удавалось себя проявить на выгороженном из реальности пространстве — либо под землей, как в метро, либо — вне ее, как на ВДНХ.

Делянка утопии до тех пор превращала сказку в мраморную быль, пока одна не совпала с другой в скульптурных шалостях нового Манежа. Гуляя по окопам этого примечательного сооружения, я остановился у знакомой цитаты — что-то вроде Козы-дерезы с рыбаком и рыбкой. Не замечая меня, возле каменных героев стояла пожилая женщина. Забыв опустить на землю тяжелую сумку, она глядела на скульптурную группу, не мигая.

— Вот за это — спасибо, — наконец сказала она, ни к кому не обращаясь, и ушла восвояси, унося с собой тайну такого искусства.

Когда-то Христо был Явашевым, скромным студентом Софийской академии художеств. Во время летней практики он работал в бригаде художников, создававших разного рода камуфляжи по пути следования трансъевропейского Восточного экспресса, дабы его пассажиры

.....

иностранцы не заметили ничего неприглядного. Добравшись в 1956-м до Запада, а в 1964-м до Нью-Йорка, художник не забыл своей родины — потемкинской деревни. Став Христо, то есть апостолом авангарда, демиургом постмодернизма и гением монументального (мягко говоря) хеппенинга, он признается, что вышел из советского пропагандистского искусства. Однако у Христо общее с агитпропом только средство, но не цель.

Собственно, политическое искусство тем и отличается от настоящего, что первое знает, зачем оно существует, тогда как второе живет по-нашему: бесцельно. Изъяв прагматизм из пропаганды, Христо превратил утилитарное искусство в абстрактное — ненужное и незаменимое.

В этом, конечно, нет ничего нового. Еще Кант учил, что эстетика — сфера незаинтересованного созерцания. С теми, кто Канту не верит, сложнее. Труднее всего, говорит Христо, убедить скептиков, спрашивающих, зачем все это нужно.

— Ни за чем, — терпеливо объясняет художник.

Но если ответ не помогает, Христо апеллирует к закату, от которого людям не больше пользы, чем от тех семи с половиной тысяч ворот,

что в прихотливом порядке выстроились на дорожках Центрального парка.

Нью-Йорк очень трудно удивить, но Христо пытается это сделать с 1979 года, когда впервые был задуман этот самый амбициозный проект в городской истории. На посторонних больше всего действуют цифры: 21 миллион долларов, пять тысяч тонн стали (по весу — одна треть Эйфелевой башни), сто тысяч квадратных метров оранжевого нейлона. Однако статистика скорее извращает впечатление, чем передает его. В проекте Христо нет ничего маниакального, подавляющего, сенсационного. Напротив, это тихий опыт эстетической утопии.

«Воротам» свойственна органическая, а значит, временная прелесть клумбы. Христо, его жена-соавтор Жан-Клод и 600 самоотверженных помощников на 16 дней преобразовали 37 километров самой дорогой — манхэттенской — земли в заповедник бесцельной красоты. Напоминающие японские тории оранжевые ворота с шафранными занавесями превратили февральский черно-белый парк в цветное кино. Мягко следуя рельефу, взбираясь на пригорки и опускаясь в расселины, рукотворные достопримечательности не соревнуются с естественными, а отстраняют их.

«Ворота» Христо впускают в себя все виды искусства. Широко открытые не только толкованиям, но и стихиям, они меняют жанр в зависимости от погоды. В штиль пятна оранжевой ткани врываются в пейзаж, как полотна Матисса. В солнечный день нейлон словно витраж ловит и преувеличивает свет. Раздувая завесы, ветер лепит из них мобильные скульптуры, напоминающие то оранжевые волны, то — песчаные дюны, то — просто сны. Но когда бы пешеход ни бродил под «Воротами», они всегда остаются архитектурой, организующей окружающее в священный союз природы с умом.

Беда в том, что опусы Христо трудно воспринять в репродукциях и пересказе. Это все равно что выпивать по телефону. В любом описании теряется главное — магия присутствия, промывающая глаза и растягивающая время. Четверть века я гуляю по Централ-парку, но никогда не видел его таким красивым.

Чувствуя быстротечную значительность происходящего, ньюйоркцы проходят под желтыми воротами, приглушая голоса, как будто участвуют в торжественной храмовой процессии. В сущности, так оно и есть. Предмет творчества Христо — не объект, а ритуал. Он — не ху-

.....

дожник, а церемониймейстер, создающий из толпы зевак колонны паломников.

Затесавшись в них, я подслушал разговор молодых соотечественников:

— Какая энергия! — говорила девушка в модной ушанке. — От желтых «Ворот» в воздухе разливается прана.

— Что есть, то есть, — согласился ее спутник в синих трениках, — прана так и прет.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ — БЕЛЫЙ

*Он вершит игры обряд,
Так легко вооруженный,
Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный.*

О. Мандельштам «Теннис»

— Раньше, — брюзжит Пахомов, — власть любила ясный теннис, теперь — темную борьбу.

— Самооборону, — поправил я его. — И без оружия.

— Не важно. Все это — теннис без сетки: когда все можно, то ничего не интересно, — сказал Пахомов, разворачивая тем не менее «Плэйбой». — Сюжет создается усложнением перед развязкой. Возьмем, например, корсет...

— Разве мы не о теннисе?

— Какая разница? Всякий спорт, начиная с секса, — преодоление трудности и внедрение тяжести.

Согласиться с Пахомовым, который давно уже не держал в руках ничего тяжелее карандаша, было выше моих сил. Еще и потому, что в отличие от него я играю в теннис. Когда никто не смотрит, разумеется.

А что делать, если в школе нас учили гимнастике. По прусской, как я теперь понимаю, системе: движения без рассуждения. Пирамида «Урожайная», составленная из взаимозаменяемых элементов (кроме самых толстых). Второгодникам, правда, разрешали метать гранату. Одна угодила в физрука, но он все равно не отставал. Поэтому теннис до меня добрался уже в Америке.

Они идут друг другу, ибо корт — это свобода, смиренная конституцией. Каждый поединок разыгрывает мистерию, которую, подражая неспортивному Ницше, я бы назвал «Рождение цивилизации из духа недвижимости».

Старинные, еще феодальные, правила позволяют теннисисту вступить во владение ограниченным, как огород, пространством. Причем за нерушимостью границ следят не алчные соседи, а беспристрастные судьи. Наглядность межи вносит в демократическую теннисную жизнь ту определенность, которой ощутимо недостает тоталитарным — как геополитическим, так и армейским — проектам. Не «от моря до моря» и не

«от забора до обеда», а — отсюда до туда, пока хватит сил.

Дело в том, что в теннисе, как на Диком Западе, своим мало владеть, его надо еще отстоять от чужого. Вот почему, чтобы ни говорил Пахомов, на корте установлена сетка — она мешает передрасться противникам. Именно сетка не дает превратить дувль в потную схватку, и теннис остается чистым, неконтактным спортом. Как перестрелка.

И следить за ним также интересно. Особенно, когда играют дамы, тем более — русские.

Раньше в Америке их знали только по ансамблю Моисеева и звали «берьозками» (мужчин представляли хоккеисты, космонавты и медведи). С перестройкой появились наташи. Зато теперь их узнают в лицо и называют по имени — Аня, Маша и, надеюсь, так далее.

Помню, как начиналась слава русского тенниса. Было это, естественно, в Уимблдоне. Во время турнира шли дожди. Матчи откладывались, и спортивным газетам не о чем было писать. Тут-то пресса и разнесла соблазнительную весть: русская теннисистка носит на корте самую короткую юбку. Когда к Курниковой пристали с вопросами, она, еще совсем девчонка, отвечала без всякого смущения:

— Это не юбка короткая, это ноги — длинные.

Заинтересовавшись, мир присмотрелся, и с тех пор не может отвести глаз от безошибочно русской красавицы «с косой, — как писал Веничка Ерофеев, — до самой попы». С тех пор и пошло: одна лучше другой в обворожительном славянском стиле.

— Слюни утри, — корит меня заядлый болельщик Пахомов, — хороша Маша, да не наша.

Но я и не собираюсь скрывать свой интерес, конечно — платонический. Тем более что нечто античное и впрямь отличает этих прекрасных дев. Одетые в белое, как кариакиды, не нуждаясь, как весталки, в мужской опоре, они, как амазонки, покоряют Запад. И главное, не в сапогах, а с голыми коленками — легко и играючи...

МИФ ПЛАСТИЛИНА

Я — человек покладистый: и годы уже не те, и вкусы, и страсти. Мне нравится дремать после обеда. Матом ругаюсь редко и никогда при дамах. Я люблю старых друзей, редко завожу новых и терплю всех остальных, включая тех, кто, придумав рифму «пенис» к слову «Генис», кричит «Эврика!»

С тех пор как кончилась советская власть, я не вступаю с ней в полемику, а о другом и спорить нечего.

— Пусть цветут сто цветов, — говорю я тем, кто голосует за Буша, Путина и Януковича.

— Путь в 10 тысяч ли начинается с первого шага, — успокаиваю я писателя, дебютировавшего романом «Как убить Пушкина».

Что говорить, мне довелось не только посмотреть «Ночной дозор», но и мирно выпивать с одним из его авторов.

Однако всякому добродушию приходит конец, когда я слышу слово, от которого белки на-

ливаются кровью, рука тянется к курку, перо — к бумаге: «Раскрутили!»

Все, кроме меня, знают, что это значит. Беда в том, что и я стал догадываться. В конце концов, мне выпало родиться в стране, где все наличные силы ушли на «раскрутку» режима. Я рос в пейзаже, где памятников Ленину было как грибов, а если подумать, то и больше. Над нашим воспитанием трудилась целая империя, которой так и не удалось нас ни в чем убедить. Безыдейного «Человека-амфибию» посмотрели 40 миллионов зрителей, а широкоформатный «Залп Авроры» — два.

Мы можем с гордостью сказать, что за всю историю рекламы никто, кроме коммунистов, не тратил на нее столько сил впустую. Их наследников, однако, непреложный исторический пример убедил в обратном. Действительность они по-прежнему полагают продуктом произвола, вторичным сырьем истории. Обретя свободный рынок, общество рвется им управлять по рецептам, списанным из «Блокнота агитатора». Модные технологи успеха с наивностью провинциальных секретарей обкома верят в свою власть над окружающим.

— Достаточно, — считают они, — заменить ржавую марксистскую методику соблазнительной постмодернистской стратегией.

Согласно догмам этого философского суеверия все заметные фигуры в нашем пейзаже — от Путина до Гарри Поттера — мыльные пузыри, раздутые серыми кардиналами черного и белого пиара.

— Все продается, — говорят они, набивая себе цену, — но только, если мы продаем.

Так, совершив мировоззренческий кульбит, новая Россия осталась верна старому убеждению о пластилиновом характере реальности, которая послушно прогибается под каждым, кто на нее наступит, чтобы «раскрутить».

Чуткое к обману общественное мнение по старой памяти возненавидело рекламу еще до того, как появились товары, которые стоило бы рекламировать. Утратившие идеологического противника сатирики стали кормиться «слоганами», как раньше — лозунгами. Вездесущая реклама считается влупой, бессмысленной, и — непостижимым образом — всемогущей.

Воочию я столкнулся с этим парадоксом, когда в наш дом, не снимая роликовых коньков, въехала московская певица с киприотской пропиской. Пресытившись успехом в Старом Свете, она добралась до Нового.

— Сколько у вас дают, — спросила она, подмигнув, — за рецензию в «Нью-Йорк таймс»?

— Заказную? — не сразу понял я. — Года два, если поймают.

Решив не связываться с идиотом, она выкатилась за порог, оставив меня размышлять в одиночестве.

В простодушной, как арифметика для начинающих, коррупции сказывается архаическая вера в силу слов. Как магическое заклинание, тайная и явная реклама наделяется способностью творить гомункулов, миражную нечисть, пожинаящую незаработанные славу и деньги. Такие магические махинации и называются «раскруткой».

Те, кто поплоче, хотят, чтобы их «раскрутили». Те, кто похитрее, предпочитают «раскручивать» сами. Первые — оптимисты по натуре. Они живут со светлой верой в то, что и дар продается, и славу можно купить, если точно знать, кому дать по зубам, а кому — в лапу.

Согласно данным глянцевого журналов, реклама — самая престижная профессия. В моем детстве все хотели быть космонавтами, футболистами или уж мясниками. Сегодня мечтают стать мастерами пиара, чеканщиками личин, технологами славы. Оно и понятно: делать королей даже интересней, чем ими быть. Из

этого, впрочем, ничего не выходит. Самозванные мэтры «раскрутки» создают свою ревнивую табель о рангах, в которую только они и верят.

Чтобы понять механизм этого обмана, надо искать *cui prodest*, ибо, как эту поговорку переводил Ленин, «кому выгодно, тот и виноват». Советская власть, а честно говоря, и вся русская традиция была исключительно благоприятна для критиков, занимавших пост просвещенных соавторов. Падение цензуры, упразднив роль идеолога-толкователя, подорвало авторитет профессионалов. Надеясь вернуть себе утраченное влияние, они уверяют потенциальных заказчиков, что постигли законы создания успеха.

Все это вовсе не значит, что я не верю в рекламу. В конце концов, я четверть века живу в стране, которая ее изобрела. Но именно потому Америка лучше других знает и о границах ее могущества. Реклама — это искусство, а значит, она не может работать наверняка. Если бы существовали непреложные законы, гарантирующие успех любому товару — вещи, производству, идее, образу жизни, — мы бы оказались в детерминированной Вселенной, подчиненной произволу тех, кто постиг ее

правила. В России эта мрачная утопия однажды уже показала свою несостоятельность. И это — благая весть. Между чужой волей и нашей прихотью остается зазор свободы, где прячется от технологов славы неприкосновенный запас недоступных раскрутке ценностей,

QUID PRO QUO

Самые опасные американцы — те, кто так хорошо говорит по-русски, что мы забываем, с кем имеем дело. К счастью, это большая редкость. Даже слависты, читающие наизусть Евтушенко, любят перегибать палку. Сперва они называют по имени-отчеству домашнюю кошку, зато потом переходят на «ты» рюмкой раньше положенного и пользуются ненормативной лексикой чаще, чем следует замужней специалистке по ранней прозе Григоровича. Труднее всего объяснить то, что и так всем понятно.

На этот раз, однако, все шло как по писанному. Мы встретились за чаем, к которому по диковинному американскому обычаю не подавали водки. Разговор тем не менее шел понятный: каждый по очереди хвастался глупостью своей родины.

Я давно заметил, что ничто так не сближает чужестранцев, как чувство превосходства личности над ее государством.

Как-то меня занесло в литературную Колонию, любовно устроенную в живописном (когда там не идет война) уголке Восточной Европы. Проведя неделю среди уроженцев стран, которые раньше назывались братскими, я понял, что нас и правда объединяют кровные узы порочного круга. Каждому нашлось что рассказать о безумных проделках своего отечества. Молчал только экологически чистый поэт Норвегии, по ошибке затесавшийся в нашу компанию. Завидуя хохоту, он насупился и заносчиво спросил:

— Вы хоть помните, что учинили с Европой наевшиеся мухоморов викинги?

— Еще бы! — сказал я, предвидя оранжевую революцию. — Варяги основали Киев.

Думаю, дело в том, что всякая власть, будучи наименьшим знаменателем национального интеллекта, гораздо громоздить глупости, над которыми ей потешаться нельзя, а нам — можно и даже нужно, чтобы чувствовать себя умней ее — например, на выборах.

Вот и сейчас, посмеявшись над проделками сразу двух сверхдержав (бывшей и настоящей), я перешел на личности.

— Как это вы, типичная американка, так хорошо выучили наш язык?

Пропустив комплимент мимо ушей, собеседница, ядовито ухмыляясь, задержалась на

другой части этой вроде бы безобидной реплики.

— Как и вы, типичный еврей.

Я поморщился от хамства. Меня не смущал еврейский вопрос (хотя это был уже не вопрос, а ответ). Раздражало другое. Изготовленный по индивидуальному проекту, я не хотел слыть типичным, считая, что такими бывают только шлакоблоки.

Отвечать за себя труднее, чем за державу, потому что ты один, а их много.

В Америке этот нехитрый силлогизм называется политической корректностью, которая на русский язык переводится описательно и матом. Я еще не встречал (по обе стороны океана) соотечественника, которого бы не бесила политкорректность, хотя как раз среди наших мало кто склонен ею злоупотреблять. Считая щепетильность барской, как подагра, болезнью, мы кроем чохом, не видя греха в обобщении. В том числе и тогда, когда к этому вынуждают обстоятельства. «Черная самка получила Нобелевскую премию», — весело написал мой коллега по эмигрантской прессе, узнав о награде, доставшейся американской романистке Тони Моррисон.

Справедливости ради надо сказать, что и русский язык знает недоступные переводу концеп-

ции. На это мне указала та же собеседница, работающая в свободное от разговоров со мной время синхронным переводчиком ООН.

— Конечно, — закивал я, — наши живописные идиомы: «красна девица», «бить баклуши», «закусить мануфактурой».

— Это еще что! Вот как вы скажете по-английски фразу, без которой на трибуне ООН уже 20 лет не обходится ни один делегат страны Пушкина: «задействовать для целесообразности»?

Я горько задумался, но не смог перевести, хотя именно этому меня столько лет учили в школе. В старших классах мы шлифовали свой английский на «Московских новостях», всегда представляющих наиболее характерным образом и свою страну, и свою эпоху. От других печатных органов того метафорического времени эта газета отличалась тем, что умела говорить, ничего не сказав, на нескольких языках сразу. С тех пор я, объездив сорок стран четырех континентов, встречал все разновидности английского — от оксфордского до пиджин, но мне так и не пригодилась фраза из передовицы, которую я зубривал все школьные годы: «Наша бригада с честью боролась за переходящее красное знамя ударников социалистического соревнования».

Впрочем, однажды, еще в России, я воспользовался с трудом дававшейся мне наукой в разговоре с первым живым американцем.

— Где ты проводишь лето? — спросил он, не зная, чем занять малолетнего туземца.

— Pioneer camp, — радостно ответил я точно так, как меня учила московская газета.

— Ишь ты, — удивился янки, — как и мы: ковбой, барбекью, индейцы.

Прошло много лет, но я по-прежнему млею от непереводаемых тайн что родного, что чужого наречия. Только теперь я их часто путаю. Недавно московский приятель хвалил мне одну певицу.

— Она, — говорит он, — для Лужка пела.

— Романтично, — сдержанно отвечаю я, — но, наверное, все-таки правильно говорить «пела на лужке»?

— Ты думаешь? Во, развратник.

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ

Накануне юбилея Победы, репетируя новую «встречу на Эльбе», госсекретарь Америки посетила Россию. Рассказывая о визите, русская газета Нью-Йорка вышла с шапкой: «Кондолиза Райс отчитала Путина». Московская пресса исправила опечатку: «Кондолиза Райс отчиталась перед Путиным».

Как все ущемленные меньшинства вроде евреев, гомосексуалистов и женщин наши соотечественники больше всего интересуются тем, что говорят они и о них.

— Провинциалы, — сказал я Пахомову, — всегда начинают с себя, причем дальше не идут. Между тем настоящий джентльмен ставит себя на второе место: «My dog and I».

— От собаки слышу, — ответил Пахомов.

— Да нет, — говорю, — это я к тому, что англичане даже собаку пропускают вперед.

— И правильно делают! Они произошли от бульдога.

— А мы?

— Известное дело: «по образу и подобию». От обезьяны, — добавил он на тот случай, если я не понял.

В Америке, где эволюцию часто считают европейским извращением, это не совсем так. Русских производят напрямую от коммунистов. Поскольку последних тут никто толком не видел, то портрет получается произвольным: толстый с медалями. В фильмах про Джеймса Бонда злодеям для простоты давали имена писателей. Одного генерала звали Пушкин, другого — Чехов, «Солженицын» — уже не выговорить.

Америку понять нетрудно. Мои здешние ровесники еще помнят, как их учили прятаться под парты, когда начнут падать советские бомбы. В 50-е каждый американский ребенок носил на шее именной жетон, чтобы знали, кого хоронят. Любви такое не способствует, но и особой ненависти не было, скорее — ленивое недоумение.

Третью веку назад, когда я приехал в Америку, чтобы открыть ей глаза, она ими смотрела потешную рекламу. На экране шел показ советских мод: дородная уборщица в балахоне. Пляжную версию костюма дополнял резиновый мяч, к вечернему наряду добавлялся фонарик.

.....

— Что ты хочешь, — утешал меня Пахомов, бывший в прошлом рождении марксистом, — Америка — страна победившего пролетария.

— Как Россия?

— Ну да. Только там пролетариат проиграл.

Но и Пахомову стало не по себе, когда американцы принялись выливать безвинную «Столичную» за то, что русские сшибли корейский лайнер. Наши таксисты тогда выдавали себя за болгар, но только до тех пор, пока София не оказалась замешанной в покушении на Папу Римского. В своих знаменитостей американцы предпочитают стрелять сами, без подсказки органов.

Первую симпатию на брезгливом лице Америки я уловил, когда случился Чернобыль. Это все равно, что заметить расстегнутую ширинку на штанах хулигана. Державная слабость располагает к сочувствию, особенно у американцев, которые предпочитают устраивать ядерные взрывы не на своей, а на чужой территории.

Америка впервые оттаяла с явлением Горбачева. Я до сих пор не знаю, чем он ее купил, но в честь непьющего генсека выпустили водку «Горбачев». Понятнее была бы водка «Ельцин», но вместо нее появилась плохо очищенная «Жириновская», и Америка вернулась к «Столичной». Что, в сущности, и не важно: водку тут

все равно разбавляют — тем самым льдом, что растопил Горбачев.

Вторая оттепель оказалась еще короче первой. Если раньше русский экспорт ограничивался политически некорректным товаром — икрой и мехами, то теперь к ним прибавились табуированные бандиты и уступчивые блондинки. Недолгому взлету популярности мы обязаны Голливуду, которому русская мафия заменила уже отработанную сицилийскую. В одном из таких фильмов крестный отец излагает свое выстраданное кредо:

— Где демократии справиться с теми, — кричит бандит, — кого не раздавил Сталин!

Популярный по обе стороны океана тезис не успел развиться, как грянуло 11 сентября, отменившее русских как класс, тему и проблему. Нашедшую себе надежного врага Америку сейчас интересуют в России только окраины, причем — южные. До остального всем мало дела.

Я почувствовал это на себе. С тех пор как в жилетке Америки мы заняли свой этнический карман — между греками и корейцами, с нами перестали считаться, — от нас перестали шарахаться.

Иногда быть не хуже и не лучше других удобно. Я это оценил, когда ломаным русским овладел стоящий по соседству банковский автомат. Теперь на его экране можно прочесть:

«Дайте мне минуточку, чтобы закончить ваш запрос».

Хорошо, что не «допрос», подумал я, но не обиделся, потому что мне всегда нравились эти голубоглазые машины денег. В Америке их зовут, как КГБ, — аббревиатурой: «АТМ». В России она называется иначе, о чем я узнал в Москве, когда мне понадобились наличные.

— Где у вас ближайший банкомёт? — спросил я у человека с ружьем, который стоял то ли на страже, то ли на стрёме.

— В казино «Чехов».

— Почему же это «Чехов», а не «Достоевский»? — заинтересовался я.

Но друзья уже тащили меня к банкомату, знаками показывая прохожим, что я не опасен для окружающих.

ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО

— **В**ы пьете? — спросил мужчина в форме.

— По праздникам, — уклончиво ответил я, зная, что правила запрещают приносить алкоголь на общественную лужайку, где мы так славно устроились с шашлыками.

Не удовлетворившись расплывчатым ответом, он залез в корзину, где стоял праздничный набор в разной степени початости. Конфисковав наш запас веселья, полицейский ушел, оставив меня в тревожной задумчивости.

Бывая в России, я давно заметил: единственный интересующий всех моих собеседников факт из жизни Америки сводится к справке о том, что распивать спиртное на открытом воздухе здесь можно, лишь спрятав бутылку в бумажном пакете.

— Полиция не станет в него заглядывать, — важно объяснял я, полагаясь на чужой разум и свой опыт, — чтобы не нарушить святую неприкосновенность вашей собственности.

Но после 11 сентября американские нравы, видимо, изменились, и войну с терроризмом власть начала с борьбы за мою трезвость.

Должен признаться, что произошедший инцидент поколебал основы моего американского мировоззрения, ибо на стороне зла была буква закона, а на моей — только его дух.

Я всегда нарушаю закон на досуге. Что и нормально, если вы не служите в мафии. Чаще всего я это делаю за рулем, увеличивая скорость до того разумного предела, за которым риск наказания превышает соблазн преступления. Бодрийяр, приводя в пример вождение машины в Америке, замечал, что страна способна функционировать лишь до тех пор, пока она уважает неписаный закон не меньше писаного.

Другими словами, которыми меня еще в детстве воспитывал напуганный властью отец, главное — не высовываться. Конечно, если бы отец прислушался к собственным советам, он бы жил в Рязани, вспоминая там, а не в Лонг Айленде, как испытывал авиационные локаторы на сверхсекретном заводе, замаскированном под мебельный комбинат и даже выпускавшим для конспирации каждый год по четыре стула. Усидеть на них отцу помешала унаследованная мною любовь к литературе, которую он пытал

ся привить сотрудникам на открытых комсомольских собраниях. На беду отцу, как и мне, часто нравились авторы, неадекватные историческому моменту: он хвалил Дудинцева так же некстати, как я Сорокина.

Гений Америки в том, что она умеет использовать людей с непомерными амбициями вместо того, чтобы сажать их в тюрьму. Но на шоссее таких нещадно штрафует. Тем более что обычно они ездят в красных машинах, что сильно упрощает жизнь дорожных патрулей.

Похожие на шук, они, укрывшись за поворотом, сторожат автомобильный косяк, дружно превышающий скорость на те десять миль, на которые закрывает глаза закон. Дождавшись торопливого дурака в алом «Корвете», полиция садится ему на хвост и долго жует жертву, выписывая дикие штрафы. Во время этой процедуры несчастному водителю, как пещарю у Щедрина, положено сидеть, не поднимая глаз и не повышая голоса. А ведь как хочется вмешаться в собственную судьбу — укусить полицейского, сбежать в Мексику или выдать себя за Джеймса Бонда. Но так поступают только в Голливуде. Когда вы не на экране, то, чтобы не надели наручники, лучше держаться скромно, помня о своей неизбывной, как у Кафки, вине.

.....

Подняв планку на недостижимую для всех высоту, власть обрекает нас толпиться в тамбуре закона, уповая на ее милость, его недосмотр или слепую удачу. Плохо, когда черта, отделяющая правых от виноватых, произвольна. Еще хуже, когда она невидима. Но не легче и тогда, когда она у всех на виду, как дорожный знак или правила парковки.

Зато власти удобно, когда мы, обманывая ее по мелочам, хитрим и мечемся — переходим на красный свет, курим в неположенных местах и уклоняемся от налога. Твердо помня, что грешниками управлять легче, чем праведниками, власть делает первых из вторых, настаивая на своем с усердием, недостойным и лучшего применения.

Когда закон нарушают все, то власть может выбирать виновного себе по вкусу, который иногда, должен сказать, бывает весьма изощренным.

Однажды я в этом убедился в заповедных лесах Северной Каролины на берегу горного озера, где, ввиду отсутствия посторонних, я выкупался нагишом. Пока я, безгрешнее Адама, сох на ветру, мне пришло в голову забросить удочку. Вот тут, как цитата из ненаписанной сказки, из чащи вышел инспектор рыбнадзора. Не выказав удивления моим внешним видом, что бы

ло даже обидно, он заставил меня достать из воды крючок, на котором желтела улика — нанизанное зерно кукурузы. (Ею кормят молодых форелей, которых именно поэтому можно ловить только на искусственную наживку.) Сперва я хотел плюнуть на штраф, но это происходило в федеральном заповеднике, отчего бумага начиналась как дипломатическая нота: «Соединенные Штаты Америки против Александра Гениса».

Не будучи Осамой, я сдался и заплатил.

bednye lyudi.doc

Трудно поверить, но ведь я знал тебя еще маленьким: неуклюжий, головастый младенец.

Экранчик — с почтовую открытку. Как раз такой был у бабушкиного телевизора «КВН». К нему приставляли наполненную водой линзу, чтобы лучше разглядеть Хрущева, а мне хотелось запустить в этот телеаквариум золотых рыбок.

Возможно, я был прав. Прогресс все равно идет не туда, куда его посылают.

Посмотри на себя. Разве таким мы тебя растили?

Робкая машинка знаний, ты начинал, как подающий надежды второгодник, а кончил тем, что вступил в беспроводную связь, причем — с кем попало.

В первый раз войдя в Сеть, я увидел странные письма на твоём экране: «ОНА ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ГЕНИС БЫЛ БОЛЬШЕ».

— Кто — она? — задумался я. — Литература? Родина?

— Не Генис, а пенис, — прочел я, надев очки, но было уже поздно бороться с комплексом неполноценности.

Но хуже всего, что ты заставил нас говорить по-своему — без обиняков и понятно, все остальное — делить на два.

Бедные люди! Еще недавно они были венцом творения.

Мы жили нюансами, упивались иносказани-ями и читали между строк.

Краски Серова, эзопов язык, передовая в «Правде» — мы всё обменяли на твою железную логику. Неудивительно, что играть с тобой в шахматы — все равно, что драться с бульдозером.

Чуя ненависть, ты, втираясь в доверие, сулишь мне, как Мефистофель — Фаусту, диплом за две недели, богатство — за одну и вечную молодость сразу по подписанию контракта. Может, поэтому так суетятся твои мелкие черти, вечно юные компьютерщики, которые врут нам, глядя в твой голубой глаз: «Лопнул по ватерлинии».

И мы обречено бредем в магазин за новой гадиной, которая отличается от предыдущей только тем, что стареет быстрее и живет

меньше. На это вся надежда: если так пойдет дальше, они вымрут сами.

FROM: computer

TO: alexander genis

SUBJECT; Re:bednye lyudi.doc

ERROR 404

ОТПУСК

Александр ГЕНИС

ЛЕТО СВОБОДЫ

Summer time and the livin' is easy
Сям и там давят ливер из Изи

(Пер. А. Хвостенко)

— Бог, — говорят англичане, — сотворил мир пополудни летом.

С ними трудно не согласиться. Во всяком случае, в тех неумеренных широтах, где я вырос. «Летом» здесь назывались каникулы — не взирая на градусник. Но меня все равно тянуло на Север. Возможно, потому, что Запад на нас кончался — пограничным катером на горизонте.

1970-му лето удалось. Страна дружно отмечала столетие Ленина и не выходила из дома: по телевизору показывали «Сагу о Форсайтах».

До всех них, впрочем, мне не было дела. Я еще не знал, что такое не повторится, но уже об этом догадывался: тем летом мне довелось познать свободу. Как всякая революция, она застала меня врасплох и сделала ненадолго счастливым.

Свобода была в беззаконье. Отменяя пространство, время и участкового, она пьянила властью над обстоятельствами. Достигнув так и не повторившегося баланса, душа входила в тело без остатка. Бездумно радуясь успеху, я шагал с миром в ногу даже тогда, когда шел в другую сторону.

— Свобода, — бормотала интуиция, — это резонанс тебя со средой.

Но и в остальные дни недели свобода не обходила меня стороной. Окончив школу, оставшись без обязанностей, я не торопился с планами, ел через день, спал через два и пил, что льется — когда все смешно, не бывает похмелья. Стоя перед распахнутым настезь летом, я мог выбрать любое направление, потому что судьба, словно ливень, просто не могла промахнуться.

Но мне, как уже было сказано, нравился Север. Собрав на дорогу мелочь, друзей и палатку, я смело тронулся в путь. В те времена ритуал взросления завершал гран-тур по родной истории. Маршрут вел в обход столиц на периферию нации. Теперь я уже сам не могу толком объяснить, чего мы ждали и искали в тех трудных, как паломничество, походах. Но с концом 60-х, когда метафизическим считался вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?», популярные стран-

ствия по старинным русским монастырям стали дополнять образование и мешать ему.

В университете из всех предметов мне труднее всего давался «научный атеизм». Возможно, моему успеху в этой безбожной дисциплине мешали северные иконы, впервые открывшие мне странный — неантичный — идеал красоты. Метрой ей служил человек, все черты которого преобразила близость к Богу. В сущности, это тоже была утопия, но она призывала заменить пятилетний платоновский проект платоновской же идеей совершенного в своей нетленности образа. В заколоченных (от греха подальше) монастырях стремились переделать не одну отдельно взятую страну, а каждого отдельно взятого человека. Мне, впрочем, больше нравились ангелы — чертеж перестройки, указующий на ее конечную цель.

У нас такой не было. Летняя свобода лишала жизнь зимнего смысла, меняя идеал на счастье, когда нам было по пути. Доверяя больше встречным, чем карте, мы тряслись в попутных грузовиках, останавливаясь там, где, как это часто бывает между Балтийским и Белым морями, кончался асфальт. Угодив в беспутную паузу, мы брели пешком, ждали подводу, вскакивали в товарняк или жили там, куда занесло, надеясь, что случай подвернется раньше, чем кончится тушенка.

Однажды на просеку вышел ражий медведь, в другой раз — цыганский табор, в третий — нас подобрал мятежный «газик», пробиравшийся домой на Север, не разбирая дороги. Его водитель пропил командировочные еще в Москве. В жилых местах он вел машину впроголодь, в лесу жил ухой (в Карелии без крючков не выходят из дому). За рулем шофер непрерывно матерился, но у костра, за нашей водкой, церемонно представлялся:

— Анатолий Борисович, — и тут же пояснил, — «Толяныч».

В то лето мне встречались только необычные люди, но и пейзажи были не проще, в чем я окончательно убедился на Соловках, когда пришел час полярного заката. Стоя по пояс в студеной воде (чтобы отвязалась мошка), я смотрел, как вчера перетекало в завтра, лето отменяло зиму, день — ночь. Нежно, как в романсе, солнце коснулось моря и, мягко оттолкнувшись от него, пустилось обратно в небо.

Нам тоже пришла пора возвращаться, но из патриотизма мы еще дали крюк во Владимир, который неведомый мне тогда Бахчанян предложил к юбилею переименовать во Владимир Ильич. Знаменитая церковь закрылась на реставрацию, причем с размахом — на десять лет. Зато был открыт магазин «Соки-Воды». В нем не бы

ло ни того, ни другого, но из вакантного конуса щедро текло «плодово-ягодное».

Окунувшись в море дефисов, смешавшись с местной толпой, мы до вечера не отходили от прилавка. Закуской служила горькая рябина с куста, неосторожно выросшего у порога.

— «Пьяной горечью фалерна чашу мне наполни, мальчик», — говорил я тетке в легких ва-ленках.

Но она все равно улыбалась, потому что за дверьми стояло то единственное лето, когда мне все прощалось.

ЗА КОМПАНИЮ С ХОЛМСОМ

Развиваясь, эмбрион повторяет ходы эволюции, поэтому всякое детство отчасти викторианское. Впрочем, ребенком я относился к Холмсу прохладно.

Мне больше нравился Брэм. С ним хорошо болелось. Могучие фолианты цвета горького шоколада давили на грудь, стесняя восторгом дыхание. Траченный латынью текст был скучным, но казался взрослым. Зато он пестрел (как изюм в булочках, носивших злодейское по нынешним временам имя «калорийные») охотничьими рассказами: «С коровой в пасти лев перепрыгивает пятиметровую стену крааля». О, это микающеся эстонское «а», экзотический трофей — от щедрот. Так Аврам стал Авраамом и Сара — Саррой. Но лучше всего были сочные, почти переводные, картинки. Они прикрывались доверчиво льнувшей папиросной бумагой.

Холмса я полюбил вместе с Англией, скитаясь по следам собаки Баскервилей в холмах Девон-

шира. Болота мне там увидеть не довелось — мешал туман, плотный, как девонширские же двойные сливки, любимое лакомство эльфов. Несколько шагов от дороги, и уже все равно куда идти. Чтобы вернуться к машине, мы придавливали камнями листы непривычно развязной газеты с грудастыми девицами. В сером воздухе они путеводно белели.

В глухом тумане слышен лишь звериный вой, в слепом тумане видна лишь фосфорическая пасть. Трудно не заблудиться в девонширских пустошах. Особенно — овцам. Ими кормятся одичавшие собаки, небезопасные и для одинокого путника. В этих краях готическая драма превращается в полицейскую с той же естественностью, что и в рассказах Конан Дойля.

Его считали певцом Лондона, но путешествия Холмса покрывают всю Англию. Географические указания так назойливо точны, что ими не пренебречь.

Вычерчивая приключенческую карту своей страны, Конан Дойль исподтишка готовил возрождение мифа, устроенное следующим поколением английских писателей.

Как в исландских сагах, на страницы Холмса попадают только отмеченные преступлениями окрестности. Преступление — мнемонический знак эпоса. Цепляясь за них, память становится

зрячей. Ей есть что рассказать. Срастаясь с судьбой, география образует историю. Топонимическая поэзия рождает эпическую.

Признание Холмса — «Я ничего не читаю, кроме уголовной хроники и объявлений о розыске пропавших родственников» — неплохо описывает «Илиаду» и «Одиссею».

Главное свойство гомеровского мира — фронтальная нагота изображенной жизни. У эпоса нет окраины. В его сплошной действительности все равно важно: и щит, и Ахилл, и прялка. В пронзительном свете эпоса еще нет тени, скрывающей детали. Мир лишен подробностей, ибо только из них он и состоит. Неописанного не существует. Всякая деталь — часть организма, субстанциальная, как сердце.

Гомер не умел отделять частное от общего, Холмс — не хотел. Подробности наделяли его гомеровским — пророческим — зрением: он видел изнанку вещей, знал прошлое и предвидел будущее.

Жанров без подсознания не существует. У детективов оно разговорчивей других. Детектив напоминает сон. Те, кто толкует его по Фрейдю, успокаиваются, узнав убийцу. Приверженцам Юнга достается целина жизни — правдивые окраины текста.

Постороннее в детективе наливается уверенной ртутной тяжестью. Это — не наблюдения за

жизнью, а ее следы. Как кляксы борща на страницах любимой книги, они — бесспорная улика действительности.

Велик удельный вес случайного на поля детективного сюжета. Самое интересное тут происходит за ойкуменой сюжета. Вопрос в том, сколько постороннего способны удержать силовые линии преступления — радиация трупa.

Мы читаем рассказы о Холмсе, выживая не относящиеся к делу подробности. В них — вся соль, ради извлечения которой мы не устаем перечитывать Конан Дойля.

Обычные детективы, как туалетная бумага, рассчитаны на разовое употребление. Только Холмс не позволяет с собой так обходиться. У Конан Дойля помимо сюжета все бесценно, ибо бессознательно. В других книгах эпоха говорит, в этих — проговаривается. У XIX века не было свидетеля лучше Холмса — мы чуем, что за ним стоит время.

Холмс вобрал в себя столько повествовательной энергии, что стал белым карликом цивилизации, ее иероглифом, ее рецептом, формулой. Пытаясь расшифровать эту скоропись, мы следим за Холмсом с той пристальностью, которой он сам же нас и научил.

Самые истовые из его читателей — как новые масоны. Они назначили деталь реликвией, сюжет — ритуалом, чтение — обрядом, экскурсию

паломничеством. Так уже целый век идет игра в «священное писание», соединяющая экзегезу с клубным азартом.

В этой аналогии меньше вызова, чем смысла: Шерлок Холмс — библия позитивизма. Цивилизация, которая ненароком отразилась в сочинениях Конан Дойля, достигла зенита своего самоуверенного могущества. Ее сила, как всемирное тяготение — велика, привычна и незаметна.

О совершенстве этой социальной машины свидетельствует ее бесперебойность. Здесь все работает так, как нам хотелось бы. Отправленное утром письмо к вечеру находит своего адресата с той же неизбежностью, с какой следствие настигает причину, Холмс — Морриарти, разгадка — загадку.

Эпоха Холмса — редкий триумф детерминизма, исторический антракт, счастливый эпизод, затерявшийся между романтической случайностью и хаосом абсурда.

Если преступление — перверсия порядка, то оно говорит о последнем не меньше, чем о первом. Читая Конан Дойля, мы подглядываем за жизнью в тот исключительный момент, который кажется нам нормой.

Криминальная проза — куриный бульон словесности.

Детектив — социальный румянец, признак цветущего здоровья. Он кормится следствием, но

живет причиной. Он последователен, как сказка о репке. В его жизнерадостной системе координат жертва и преступник скованы каузальной цепью мотива: кому выгодно, тот и виноват.

Если есть злоумышленник, значит, зло умышленно. Что уже не зло, а добро, ибо всякий умысел приближает к Богу и укрывает от пустоты.

В мире, где жертву выбирает случай, детективу делать нечего. Когда преступление — норма, литературе больше удаются абсурдные, а не детективные романы.

Цивилизованный мир Британской империи — главный, но тайный герой Конан Дойля, о котором он сам не догадывался. Да и мы узнаем о нем только тогда, когда, собрав рассыпанные по тексту приметы, поразимся настойчивости их намек.

Как и Ленин, Конан Дойль торопится захватить все, что нас связывает: телеграф, почту, вокзалы, мосты, но прежде всего — железную дорогу: Холмс никогда не отходит далеко от станции, Ватсон не расстается с расписанием.

Возможно, в авторе говорил цеховой интерес. Рассказы о Холмсе — первая классика вагонной литературы. Они, мерные, как гири, рассчитаны на недолгие пригородные поездки. Единица текста — один перегон. Сочетая стремительность фабулы с уютом повествования, они идеально дополняют меблировку купе.

Детектив — дом на колесах. И лучше всего читать его на ходу, ибо всякая дорога потворствует приключениям. Нанизывая на себя авантюры, она выпускает случай на волю. У Конан Дойля, однако, железная дорога не нуждается в оправдании. Она помогает не сюжету, а героям: в купе они набираются сил.

Железная дорога — кровеносная система цивилизации. Делая перемещение бесперебойным, а остановки предсказуемыми, она покоряет пространство и время, укладывая стихию в колею прогресса. Здесь не может случиться ничего непредвиденного. Сюда запрещен вход случаю, ибо он угрожает главной ценности XIX века — размеренности движения.

Английская железная дорога — перенесенное из истории в географию наглядное пособие по эволюции, страстную любовь к которой Конан Дойль разделял со своим временем.

Холмс — живая цепь умозаключений. Его сила в последовательности рассуждения. Педантично прослеживая путь от мелкой подробности к судьбоносной улике, сыщик подражает природе, превратившей амёбу в венец творения. Как Дарвин, Конан Дойль демонстрирует скрытые от непосвященных ходы эволюции. Он устанавливает связь между низшим и высшим — фактом и выводом.

Самому Холмсу важен не результат, а метод: — Всякая жизнь, — пишет он, — это огромная цепь причин и следствий, и природу ее мы можем познать по одному звену.

Страж порядка, Холмс обладает профессией архангела и темпераментом антихриста. Его скрытая цель заменить царство Божие. Тайное призвание Холмса — демистифицировать мир, разоблачив попытки судьбы выдать себя за высший промысел.

Защищая честь своего разумного века, Холмс разоблачает чудеса, делает невозможное понятным и странное ясным.

Как всем богоборцам, Холмсу мешает случай. Песчинка в часовом механизме Вселенной, случай угрожает ее отлаженному ходу.

Срывая покров невозмутимости с высокомерного лица цивилизации, случайность выводит мир из себя.

Именно тогда и выходит на охоту Холмс. Он кормится неожиданностями, как мангусты кобрами. Отказывая провидению в праве на существование, Холмс признает случайность либо ложной, либо слепой.

Окружающее для Холмса — текст, который он предлагает читать «по ногтям человека, по его рукавам, обуви и стиге брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательных пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки...»

Прочесть Вселенную — старый соблазн. Новым его делает то, что Холмс читает мир не как книгу, а как газету.

Газета — волшебное зеркало детектива. Склеенное из мириада осколков, оно отражает мир с угловатой достоверностью снимков.

Газета — любимица Конан Дойля. Соединяя его с Холмсом и Уотсоном, она предлагает каждому упомянутому свои услуги.

Конан Дойль на газетах экономит — они заменяют ему рассказчика. Излагая обстоятельства преступления, газета дает всегда подробную, обычно ясную и неизбежно ложную версию событий. Газета отличается поверхностным взглядом, самоуверенным голосом и нездравым смыслом. Принимая очевидное за действительное, она предлагает вульгарное и единственно правдоподобное объяснение происшедшего.

Газета — шарж на Уотсона. На ее фоне и он блещит. Как слюда.

Холмса газеты окружают как воздух, и нужны ему не меньше. Оказавшись в тупике, он часто обращается к газете, чтобы найти там разгадку. Печатаемая ее черным по белому, Конан Дойль открывает секрет своего мастерства: ключ к преступлению у всех на виду и никому не виден. Кроме Холмса, назвавшего своей профессией «видеть то, что другие не замечают».

Прошлому веку газеты заменяли Интернет — они были средством публичной связи. Газетные объявления позволяли вести интимную переписку тем, кто не мог воспользоваться почтой. От чужого глаза приватный диалог укрывала ссылка на понятные только своим обстоятельства.

Разбирая птичий язык объявлений, Холмс замыкает преступную цепь на себе. Дальний отпрыск Фауста, он унаследовал от предка дар чернокнижника: Холмс читает газету, как каббалист тору.

Если Холмс — критик гениальный, то Уотсон — добросовестный, как Белинский. В окружении Холмс ценит вещное, штучное, конкретное. Для Уотсона частное — полуфабрикат общего. Все увиденное он подгоняет под образец. Холмс сражается с неведомым, Уотсон защищается от него штампами:

«Вошел джентльмен, — пишет он, — с приятными тонкими чертами лица».

Ватсон — жертва психологической школы, которая думала, что читает в душе, как в открытой книге. Холмс, как мы знаем, предпочитал газету.

Отдав повествование в руки не слишком к тому способного рассказчика, Конан Дойль обеспечил себе алиби. Холмс не помещается в видоискатель Уотсона. Он крупнее той фигуры, которую может изобразить его биограф, но мы вы

нуждены довольствоваться единственно доступным нам свидетельством. О величии оригинала нам приходится догадываться по старательному, но неискусному рисунку.

В Уотсоне Холмс ценит не писателя, а болельщика. Характерно, что спортивные достижения Уотсона важнее литературных. Чтобы мы об этом не забыли, Конан Дойль не устает напоминать, что Уотсон играл в регби. Для англичанина этим все сказано.

Спорт — кровная родня закону. У них общий предок — общественный договор. Смысл всяких ограничений в их общепринятости. Спортивный дух учит радостно подчиняться своду чужих правил, не задавая лишних вопросов. Именно так Уотсон относится к Холмсу.

Спортивность Уотсона противостоит артистизму Холмса.

Играя на стороне добра, Холмс не слишком уверен в правильности своего выбора.

«Счастье лондонцев, — зловеще цедит Холмс, — что я не преступник».

Ему трудно не верить. Лишенный нравственного основания, он парит в воздухе логических абстракций, меняющих знаки как перчатки. Холмс — отвязавшаяся пушка на корабле. Он — беззаконная комета. Ему закон не писан.

Уотсон — дело другое: он — источник закона.

.....

Уотсону свойственна основательность дуба. Он никогда не меняется. Надежная ограниченность его здравого смысла ничуть не пострадала от соседства с Холмсом. За все проведенные с ним годы Уотсон блеснул, кажется, однажды, обнаружив уличающую опечатку в рекламе артезианских колодцев.

Уотсон сам похож на английский закон: не слишком пронизателен, слегка нелеп, часто неповоротлив и всегда отстает от хода времени.

Холмс стоит выше закона, Уотсон — вровень с ним. Цenia это, Холмс, постоянно впутывающийся в нелегальные эскапады, благоразумно обеспечил себя «лучшим присяжным Англии». Уотсон — посредственный литератор, хороший врач и честный свидетель. Само его присутствие — гарантия законности.

Холмс — отмычка правосудия. Уотсон — его армия: он годится на все роли — вплоть до палача.

Холмсу Конан Дойль не доверяет огнестрельного оружия — тот обходится палкой, хлыстом, кулаками. Зато Уотсон не выходит из дома без зубной щетки и револьвера. Впрочем, у Конан-Дойля стреляют редко и только американцы.

Парные, как конечности, устойчивые, как пирамиды, и долговечные, как мумии, Шерлок Холмс и доктор Уотсон караулят могилу того прекрасного мира, за остатками которого мы приезжаем в Англию.

КРОВЬ, ЛЮБОВЬ И РЫБАЛКА

Рыбачий лагерь мы выбрали по телефону.

— Ехать, пока не упрешься, — объяснил владелец избушки, которую он собирался нам сдать за немалые для канадской глуши деньги.

— Медведи, — боязливо спрашивала жена, — у вас есть? А то мы с детьми.

— Не беспокойтесь, — угодливо тараторил почувшый наживу хозяин, — все у нас есть: медведи, лоси, индейцы.

— И врач?

— Конечно. Полчаса лету, если у вас есть биплан.

— А если нет? — вскинулась жена. — А если аппендицит?

— Well, — устало ответил канадец, и мы отправились в путь.

Два дня спустя кончился асфальт, и началась тундра. Болото мы пересекли на гусеничной танкетке, озеро — в моторке. На берег высадились

.....

с трудом — его почти что и не было. Деревья входили в воду по пояс, расступившись лишь для причала и дощатой хибары. На пороге сидел индифферентный заяц.

Распрощавшись с Хароном, мы остались совсем одни — даже радио ничего не брало. Зато здесь была рыба. Это выяснилось сразу, когда кто-то перекусил леску. Мы поставили стальные поводки и вспомнили «Челюсти».

Рыбалка — дело тихое, хотя у рыбы и ушей-то нет. Молчание помогает собраться, потому что азарт рыбалки — в напряженном ожидании.

Раз за разом падая в темную воду, блесна мечется в поисках встречи, редкой, как зачатие. Отличие в том, что такое трудно не заметить и на другом конце снасти. Налившись чужой тяжестью, леска твердеет и дрожит от нетерпения. Подавляя первый импульс (рвануть), ты шевелишь спиннингом, показывая, что ты хозяин положения. Чем крупнее зверь, тем дольше будет танец. Подчиняясь его дерганому ритму, время движется неровными толчками. Выделывая бесшумные виражи, рыба сужает круги, чтобы навсегда уйти под лодку. От ужаса упустить свой шанс, ты теряешь голову и, уже не думая продлить наслаждение, торопишь финал. Последнее, самое опасное напряжение лески — и рыба медленно, как остров, поднимается из воды. Да-

же увидав предмет страсти, ты не веришь своему счастью и правильно делаешь, потому что в воздухе ослабеваешь верный ток натяжения, связывавший вас целую вечность. Внезапная легкость предсказывает фиаско, и ты молишься только о том, чтобы взвившаяся в небо рыба упала в сеть подсака.

Канадская щука и в лодке может откусить палец, но тебе все равно. Прикуривая дрожащими руками, ты прислушиваешься к стихающему хору довольных мышц, удовлетворивших свою тягу к любви и убийству.

В рыбалке много непонятного — почти все. Этот промысел ведет в самое темное из доступных нам направлений — в глубину.

Пределом широты служит прикрывающаяся горизонтом бесконечность. Если наверху взгляд теряется в рассеивающем зрении пространстве, то внизу глазу и делать нечего. Глубина кажется нам бездонной, ибо жизнь редко уходит с поверхности. Не рискуя углубляться, мы оставляем таинственную толщу в резерве, или — как в данном случае — в резервуаре.

Вода надежно растворяет тайны. Она ведь и сама такая. Даже страшно представить, кем надо быть, чтобы в ней водиться.

Рыба о воде не догадывается, пока мы ее оттуда не вытаскиваем. Предсмертное открытие сра-

зу двух новых стихий — своей и чужой — ее утешение. То, что момент истины оказывается последним, еще не повод, чтобы рыбе не завидовать. Китайцы так и делали. Играющие рыбки внушали им свои желания — что бы это ни значило.

Но мы предпочитаем любоваться рыбой в ухе. Варить ее надо, как чай — ничего не жалея, и тогда в одной клейкой ложке соберется жизнь с гектара воды.

Объезжая озеро на моторке, мы поражались вечным излишествам природы. Если в море нет берегов, то здесь их слишком много. Головоломные закоулки внушали паническую мысль о кишечнике. Попав внутрь несоразмерного нам организма, мы держались в виду лагеря — пока не упал туман. Нижняя вода соединилась с верхней, вложив лодку в сэндвич. Сузив перспективу, туман открывал только ту часть дороги, которую можно пройти на ощупь. Натыкаясь на ветки, острова и камни, мы передвигались по все более незнакомому пейзажу. Неповторимые, как буквы бесконечного алфавита, окрестности отказывались складываться в карту.

Положение становилось странным: стоять глупо, плыть некуда, бензин на исходе, и есть нечего. Я всегда интересовался кораблекрушениями, но мы его еще не потерпели. Вспомнив мудрецов, отличающихся от нас не тем, что они де-

лают, а тем, чего не делают, мы покорились судьбе и — заодно — забросили удочки.

Когда стало темно и страшно, из протоки выплыла лодка. Мы удивились не меньше Робинзона, а обрадовались больше его. Он дикарей боялся, мы в них не верили, как все, кто помнил югославские вестерны с Гойко Митичем.

В лодке сидели двое мужчин в пиджаках на голое тело. В остальном они мало чем выделялись, скорее наоборот: у одного, Джима, совсем не было зубов. Другой оказался моим тезкой.

От энтузиазма мы чуть не утопили спасителей, но все обошлось, и уже через полчаса все сидели у нас за столом.

Индейцы пили все сразу, не закусывая и не оттанавливаясь. Они просто не видели причин для перерывов и стаканом пользовались лишь из вежливости. На разговоры времени не оставалось, но ушли они не раньше, чем кончился коньяк, пиво и горькая настойка для пищеварения. Чай их не заинтересовал, олады — тем более.

Индейцы вернулись на рассвете. Когда я пошел чистить зубы, они уже сидели у крыльца рядом с зайцем. Завтраку наши друзья решительно предпочитали спиртное, но, наученные вчерашним, мы скрыли от них свои запасы. Индейцы огорчились: до магазина они могли добраться не раньше зимы — по льду. Увидев, что кроме денег

взять с нас нечего, индейцы подрядились проводниками. На рыбалку мы собирались долго. Уж больно им понравились наши снасти, не для ловли, конечно, а так.

Сев к мотору, Алекс размотал леску и насадил на крючок щучий плавник.

— И на это берет? — с недоверием спросил я.

— Если бросить в воду.

Справедливости ради следует сказать, что рыба ловилась поровну. Индейцы превосходили нас не искусством, а терпением. Мы меняли тактику и блесны, они позволяли крючку волочиться за бортом.

— Давно вы живете на этом озере? — завел я беседу.

— Что значит — давно? — удивился Алекс. — Всегда жили.

Привычно почувствовав себя эмигрантом, я замолчал и принялся глазеть по сторонам.

Вскоре оказалось, что первозданная — на наш глаз — природа была им коммунальной квартирой, ландшафт — их семейной хроникой. Не успели мы отчалить, как Джим остановился у гранитного валуна.

— Папашу навестить, — объяснил более разговорчивый Алекс.

Во мху и правда торчала палка с перекладной. На нее Джим положил пачку сигарет без

фильтра. Алекс добавил горсть конфет. Из уважения к языческому обряду мы сняли накомарники, но от вопроса я все-таки не удержался:

— Какая же вера у вашего племени?

— Христианская, — объяснил Алекс.

Узнав, что озеро обитаемо, я стал внимательней смотреть по сторонам и вскоре обнаружил признаки цивилизации: красные ленточки на деревьях. Выяснилось, что ими помечают места, где стоит мыть золото.

— А если другие узнают? — опять вылез я.

— Для них и метят, — ответил Алекс, теряя терпение.

Обедать мы остановились у Джимовой тещи, вернее — на ее даче. Неуловимая тропинка — нога в ней утопала, не оставляя отпечатка — вела к внезапной поляне с фанерным ящиком без окон.

— Чтобы медведи не залезли, — не дожидаясь вопроса, объяснил Алекс.

Вокруг обильно росла черника — по грудь. Пока мы жарили бесценных полярных судаков, индейцы деликатно закусывали сервелатом. Рыбу они ели из необходимости, мясо — только зимой. Одного лося хватало до весны. Деньги им нужны были исключительно на выпивку. Если удавалось до нее добраться, денег не хватало. Если нет, оставались лишними. Прошлым летом Джим купил щенка за 300 долларов. Я думал для

езды, оказалось, для удовольствия. Возле круглого («чтобы буран не снес») дома жила целая свора. Внутри были печка, лавки и несколько книг о вреде алкоголя на языке кри. Его живописный алфавит напоминал тот, что мы придумали с второгодником Колей Левиным для тайной переписки. Ни нам, ни им писать было особенно не о чем.

Индейцы так органично растворились в окружающей среде, что не оставили на ней зарубок. Они не сумели наследить на берегах озера, хоть и прожили на нем столько, сколько у нас ушло на всю цивилизацию.

Север обнажает асимметрию духа и материи. Дух, конечно, — мужское начало. Сперматозоид смысла, он способен расти, но, значит, и умирать. Зато бессмертна утроба природы. Как всякая пустота, она терпелива и бесконечна. Свет рождается из тьмы, слово — из молчания, мужчина — из женщины. Союз противоположностей держится не нуждой, а прихотью. Человек — роскошь бытия, без которой оно обходилось, как индейцы без зонтика, пока мы не подарили его им на прощание.

66

К настоящему Западу ведет одна дорога — 66-я. Вдоль нее стоят кресты с жестяными цветами. О ней поют ковбойские барды:

По дороге шестьдесят шесть

Только в седле можно присесть.

Ее изображают на игральных картах, ножнах и галстуках (по ту сторону Скалистых гор их все равно редко носят). Но главное — по ней до сих пор едут к Тихому океану. А навстречу, но уже по рельсам, несутся товарные составы: 30, 40, 100 вагонов, и на каждом написано «CHINA EXPORT». Знали бы китайские кули, строившие в XIX веке эту железную дорогу, что кладут шпалы для соотечественников.

В этих краях для всех, кроме тепловоза, дорога — не средство, а цель. В пути не бывает скучно, ибо аттракционом становится избыток пространства. Об этом догадываешься, когда

возвращаешься на Восток, к цивилизации, где теперь мне и двухэтажные дома кажутся излишеством.

На Западе нет ничего, кроме пустыни, перемежающейся плоскими холмами. Здесь их зовут по-испански: mesa, что означает «стол». В сущности, это — сопка, с которой сняли скальп вместе с лучшей частью черепа. Такая операция и гористый пейзаж вытягивает по горизонтали. На Западе, где еще не знают, что Земля — круглая, глаз видит на сто миль. Это как любоваться Кремлем из моей родной Рязани.

В отличие от Сахары, где я однажды попробовал заблудиться, эта пустыня кишит жизнью. По ней бродят независимые быки и скачут неоседланные кони. В камнях, — предупреждают дорожные знаки, — живут скорпионы, гремучие змеи и пауки «черные вдовы». Понятно, что меньше всего тут людей, во всяком случае, оседлых. Пустыня подразумевает перемещение. Даже флора тут легка на ногу. Сухие кусты перекаати-поля колесят по красной земле, которая была бы уместней на какой-нибудь другой, расположенной ближе к Солнцу планете.

В лишенном примет пейзаже путнику, как бурданову ослу, трудно выбрать место для привала. За него это делает закон, превращающий в казино каждый оазис. В резервациях можно иг-

рать, но нельзя распивать спиртное. Индейцам от этого не легче. Доходы от белого азарта пропиваются в красной столице племени Навахо.

Гэллап — странный город уже потому, что здесь больше всего миллионеров на душу крохотного населения. Улица (все та же 66-я дорога) уставлена ломбардами, где жаждущие закладывают фамильное серебро и племенную бирюзу. Универмаг предлагает товары повседневного спроса: седла по 400 долларов, волчьи шкуры — по 600, лассо — по 25, подержанные отдадут за десятку.

Выйдя из магазина не сумев сторговаться, я оказался в центре внимания. Покрытый дорожной грязью, в малиновом шейном платке, с подобранным в пути орлиным пером за ухом, только я тут и походил на индейца. Мне даже похлопали прохожие братья, слонявшиеся большую часть своей жизни между Макдональдсом и кинотеатром «Dreamcatcher». Шаманы так называют деревянный обруч с кожаной паутиной, в которой застревают сладкие сновидения, чтобы повторяться каждую ночь. Но в Гэллапе с нами торговал Голливуд — без всякого успеха. Зал был закрыт до лета, когда сюда приедут «Солисты пустыни», чтобы сыграть индейцам Моцарта.

— Вот бы покойник обрадовался, — подумал я и отправился в Аризону.

Она, как стихи Цветаевой, открывалась верхним «до» — сразу за границей началась пыльная буря. Стойкий напор ветра поднял ландшафт за шиворот и вытряс его на нас. В красной пыли исчезли земля и небо. Тьма погрузила мир в транс, из которого нас вывел телефонный звонок.

— Ты хоть знаешь, — с упреком сказали в мобильнике, — что Папа умер?

— Все там будем, — искренне ответил я, ведя машину по наитию.

66-я, однако, не подвела. К вечеру, который мне уже казался вечным, она рванула в горы, перебравшись в знакомый климат. Первую сосну я встречал, как Шукшин — березу: из деревьев в пустыне — только телеграфные столбы.

Как всегда, приближение гор рождало аппетит — и к еде, и духовный. Первый в Сидоне утоляют наспех, зато душой занимаются всерьез. На бензоколонке, отклонив предложение сфотографировать свою ауру, я купил карту благодатных «воронок», ради которых сюда стекаются паломники той кудрявой секты, что объявила о наступлении Нового Века и скомпрометировала его.

К колодцу веры мы брели гуськом и молча, оставив из благочестия бутерброды в багажнике. Согласно карте, путь к духовным сокровищам был несложным: идти, пока не проймет. И дей-

ствительно, тропа кончалась речной отмелью, которую украшали пирамидки из гальки, сложенные нашими благодарными предшественниками. Под алой, как знамя, скалой, мы уселись дожидаться разряда духовной энергии.

Дело не в том, что я верю шарлатанам, я просто знаю, что они правы. В мире есть точки, где люди, а может, и звери, чувствуют себя лучше, чем всюду. В таких местах устраивают капища, строят церкви, основывают монастыри. В Сидоне открыли «Метафизический супермаркет».

Заправившись, мы отправились туда, куда все — к Гранд-Каньону. Политически корректные гиды объясняют его происхождение двойко. Геологи утверждают, что полуторакилометровую пропасть миллионы лет рыла река Колорадо. Те, кто, как это водится в Америке, не верит в эволюцию, считают Каньон последствием библейского потопа.

Вторая версия мне нравится больше. Глядя с обрыва, понимаешь, откуда берется религия. У каждой обветрившейся скалы есть свое название, сравнивающее гору то с христианским, то с буддийским, то с языческим храмом. Но стоит опуститься солнцу, и каньон становится безымянным, как дао.

На заходе разноцветные утесы устраивают оптическую пляску. Обманывая зрение, смеясь над

перспективой, они неслышно меняются местами, отменяя пространство, не говоря уже о времени. Каньон живет закатами и рассветами, старея на глазах одного Бога, в которого здесь легче верить: у такого зрелища должен быть автор.

Я убедился в этом тем же вечером, когда включил телевизор в мотеле. Молодой проповедник объяснял восторженной пастве, что каждый верующий разбогатеет, как Христос, который три года кормил апостолов, включая Иуду. Логика была на его стороне, но, не доверяя ни церкви, ни экономике, я остался при своих невыгодных заблуждениях.

Может, и зря: 66-я вела в Лас-Вегас.

АНГЛИЙСКАЯ СОЛЬ ЗЕМЛИ

У нас дома смотрят только один канал: тот, по которому показывают британское телевидение. Мы слушаем их суховатые новости, которые читают такие же сухопарые дикторши, следим за их сыщиками, каждый из которых говорит на своем диалекте, и, конечно, смеемся их шуткам. Скажем, таким.

Грубиян Фолти, долговязый владелец отеля, довел строптивного постояльца до инфаркта. Чтобы избежать скандала, труп пришлось сунуть в корзину с грязным бельем, но не успели ее вынести за двери, как за гостем пришли родственники.

— Где он? — спрашивают они хозяина.

— Тут, — говорит Фолти, показывая на корзину.

— Что он там делает?! — с ужасом восклицают близкие покойника.

— Not much, — честно отвечает хозяин.

Как же перевести эту короткую реплику? «Ничего» — верно, но не смешно. «Немного» — и не

верно, и не смешно. Средний вариант — «Ничего особенного» — втягивает в метафизические спекуляции на тему некротических явлений: значит, что-то все же покойник делает.

Трудность в том, что за этой репризой стоит вся английская культура с ее заботливо культивированной недосказанностью. Расплывчатая неуверенность грамматики умышленно размывает всякую грубую определенность, ибо на этом цивилизованном острове говорить просто, ясно и категорично считается невежливым. Избегая всякой категоричности, британская речь предусматривает особую конструкцию «хвостовых вопросов» (не так ли?). Единственная функция этого социального, а не лингвистического механизма состоит в том, чтобы избежать прямого утверждения, заменив каждую точку вопросительным знаком.

На этом принципе строится не только виртуозный диалог английской драмы, но и фундамент жизни, прошитой юмором, иронией и скептическим отношением к себе и мирозданию. Все это называется одним, опять-таки непереводимым словом — «understatement»: искусство сводить важное к пустяковому, страшное — к смешному, пафос — на нет.

По пути вниз рождается юмор. Впрочем, по дороге вверх — тоже. Как показал Свифт, зауряд

ный мир становится смешным, если мы изменим масштаб в любую сторону. Направление вектора определяют различие в характере двух атлантических народов: англичан и американцев.

Марк Твен, скажем, начал свою карьеру с преувеличений. Рассказывая на платных лекциях в Нью-Йорке о Диком Западе, будущий писатель-гуманист предлагал тут же проиллюстрировать царящие там нравы, сожрав ребенка на глазах зрителей.

Чтобы заполнить Новый Свет, юмора должно быть больше. Особенно в Техасе, где, как писал О. Генри, девять апельсинов составляют дюжину. Американская экспансия смешного не знает исключений. Даже герой Вуди Аллена — такой утрированный ипохондрик, что его космический невроз требует не психиатра, а теолога.

Другими словами, Америку смешат гиперболы, Англию — литоты. Что и демонстрирует упрямство британского юмора, не поддающегося перевозке и в ту страну, с которой, по выражению Уайльда, у Англии общее все, кроме языка. Каждый раз, когда американцы, купив лицензию успешного британского сериала, педантично пересаживают его (вместе с сюжетом и диалогом!) на свою почву, скажем, из Манчестера в Чикаго, дело кончается полным провалом. Это как фальшивые елочные украшения, о которых я читал

.....

перед праздниками в московской газете: игрушки те же, а радости нет.

В чем же секрет англичан?

Смех — универсален, юмор — национален. Первый принадлежит цивилизации, второй укоренен в культуре.

Немого Чаплина понимают все, чужому юмору надо учиться как иностранному языку. При этом «избирательное сродство» культур иногда облегчает задачу, а иногда делает ее невыполнимой. Дорожа, например, всем японским, я так и не понял, что может быть смешного в харакири, которым часто заканчиваются тут классические анекдоты. Зато мне удалось настолько полюбить дидактичный и пресный китайский юмор, что изречения его великого мастера Чжуан-цзы я, как школьница, выписываю в тетрадку и привожу при каждом удобном случае. Скажем — так:

«Человечность — это ходить хромая».

Или так: «Самого усердного пса первым сажают на цепь».

Или — этак: «У быков и коней по четыре ноги — это зовется небесным. Узда на коне и кольцо в носу быка — это зовется человеческим».

Русский юмор лучше всего там, где он сталкивает маленького человека с его Старшим братом.

«Знали они, что бунтуют, — писал про нас Щедрин, — но не стоять на коленях не могли».

Понятно, почему мы выучили наизусть Швейка, которого мало знают западные народы, кроме немцев, первыми признавших Гашека.

Тем не менее юмор Германии витает в плотных облаках. Томас Манн считал комическим романом не только свою «Волшебную гору», но и «Замок». С последним соглашались современники, покатывавшиеся от хохота, когда Кафка читал им вслух первые главы этого беспримерного опыта трагикомического богословия.

На фоне чужих смеховых традиций английский юмор отличает не столько стиль или жанр, сколько экстравагантная внешность. Я не говорю, что британский юмор лучше любого другого, а я говорю, что он уникален. Английская соль — совсем не то же самое, что обыкновенная.

Наиболее обаятельная черта британского юмора — чопорность. Она позволяет жонглировать сервизом на канате, не поднимая бровей. Комизм — прямое следствие непреодолимой неуместности, к которой, в сущности, сводится любая житейская ситуация.

Об этом писал Беккет, говоря, что чувствует себя, как больной раком на приеме у дантиста. Смерть ставит жизнь в ироничные кавычки. Вблизи смерти все становится не важным, несерьезным, а значит — смешным.

Смерть — наименьший знаменатель комического. На нее все делится, ибо она останавливает поток метаморфоз, комических переодеваний, из которых состоит любая комедия — от Аристофана до Бенни Хилла. Добравшись до последнего берега, смешное, как волна, тащит нас обратно в житейское море. На память о смерти нам остается юмор, позволяющий преодолеть ужас встречи с ней

Жестокий сувенир такого рода можно найти у Льюиса Кэррола. В «Стране чудес» Алиса ведет диалог с Шалтаем-Болтаем. Сперва он невинно спрашивает девочку, сколько ей лет.

— Семь лет и шесть месяцев, — отвечает та.

Неудобный возраст, говорит Шалтай, уж лучше бы ей остановиться на семи.

— Все растут, — возмущается Алиса. — Не могу же я одна не расти!

— Одна — нет, — сказал Шалтай. — Но вдвоем уже гораздо проще. Позвала бы кого-нибудь на помощь — и прикончила б все это к семи годам.

В одно мгновение юмор приоткрыл завесу, чтобы мы успели разглядеть за круглым, похожим на мистера Пиквика, Шалтаем-Болтаем лицо апостола эвтаназии доктора Кеворкяна. Объединить их всех может только английский юмор. Особенно тогда, когда за это берется тот же Беккет.

Габер говорит, что жизнь — прекрасная штука. Я спросил:

— Вы полагаете, он имел в виду человеческую жизнь?

Конечно, британцы не владеют монополией на могильный юмор. Ведь есть еще евреи.

Во время погрома Хаима прибили к дверям собственного дома.

— Тебе больно? — спрашивает сосед.

— Только когда смеюсь, — отвечает распятый Хаим.

Я считаю этот анекдот гениальным, но Беккету он бы вряд ли понравился. В нем слишком много мелодраматизма, оправданного трагическим положением вещей. Еврейский юмор — оружие возмездия судьбе и миру. Англичане, живя на острове, привыкли к безопасности. Хозяева морей, британцы и на суше чувствовали себя уверенно. Однако, победив внешних врагов, на которых можно свалить всю ответственность, они остались наедине с врагом внутренним — роком, непобедимым, как старость.

Английский юмор — удел победителей, обнаруживших, что все победы — Пирровы. Упершись в общую для всех стенку, англичане нашли национальный компромисс: обложили ее ватой уюта и украсили смехом абсурда.

Я бы и сам хотел так жить, и так шутить.

ВОЛШЕБНЫЕ ГОРЫ

Отпуск должен отпускать. Ослабив хватку будней, жизнь ненадолго разрешает нам вести себя как вздумается. Из-за этого так трудно с умом распорядиться заработанной свободой. Воля требует куда большей ответственности, чем рутинная. Особенно в эпоху, упразднившую то мерное чередование сезонов, что всегда обещало зимой лыжи, а летом — дачу.

Самолет, как супермаркет, отменил времена года. Земля кругла и обширна. На ней всегда найдется теплое местечко, какой бы месяц ни показывал календарь. Есть бесспорная радость в том, чтобы валяться на тропическом пляже, вспоминая ближних, оставшихся воевать с вьюгой. Но есть и своя прелесть в том, чтобы именно весной хрустеть мартовским огурчиком. Когда мы не рвем связующую время нить, а терпеливо следуем за ней, вериги сезонов, как сонет поэта, учат нас покорной мудрости. Чтобы лето было

летом, надо вернуть летнему отдыху его допотопное содержание и первобытную форму.

Для меня это значит одно: палатка.

Как почти все в жизни, я открыл радости бивака сперва теоретически — читая любимую книжку каждого вменяемого человека «Трое в лодке (не считая собаки)».

Своему метеорическому успеху Джером обязан лени. В поисках легкого заработка, он подрядился сочинить путеводитель по окрестностям Темзы. Не желая углубляться в источники, Джером сначала описал мелкие неурядицы, ждущие ни к чему не приспособленных горожан на лоне капризной британской природы. Только потом автор намеревался насытить легкомысленный опус положенными сведениями, честно списав их в библиотеке. К счастью, издатель остановил его вовремя. Книга вышла обворожительно пустой и соблазнительной. Она построена на конфликте добротного викторианского быта с пародией на него. Джентльмен на природе — уморительное зрелище, потому что она решительно чурается навязанных ей чопорным обществом приличий. Герои Джерома, не решающиеся остаться наедине с рекой без сюртука и шляпы, — городские рыцари, отправившиеся на поиски романтических, а значит, бессмысленных приключений. В сущности, это «Дон-Кихот» вагонной беллетристики, и

я жалею только о том, что, зная книгу наизусть, не могу ее больше перечитывать.

Впрочем, речь о другом. «Трое в лодке...» несли юному читателю занятную весть: чтобы испытать забавные трудности походной жизни, не обязательно покорять Эверест или Южный полюс. Достаточно ненадолго поменять оседлый обиход на кочевой, что я и сделал, проведя лучшую часть молодости с рюкзаком и в палатке.

Прошло четверть века, пока я не открыл палатку заново. Оказалось, что за эти (упущенные) годы мы с ней особенно не изменились: нам по-прежнему хорошо вместе. Объясняется это тем, что, стойко сопротивляясь прогрессу, палатка даже в Америке осталась тем, чем была всегда — передвижной берлогой.

Вылазка на природу предусматривает добровольный отказ от всего, что нас от нее, природы, отделяет. Расставшись с нажитым за последние несколько тысячелетий комфортом, мы отдаемся на волю стихиям, переселяясь в трехметровый пластмассовый дом. Смысл этой нелепости в остранении.

«Искусство, — говорил Шкловский, — нужно для того, чтобы сделать камень опять каменным».

Проще об этот камень споткнуться. Причиненное неудобство мгновенно возвращает нас к материальности мира. То же и с природой — что

бы она вновь стала собой, нужно забраться в ее нутро, даже тогда, когда оно мокрое. С погодой нельзя бороться. От нее можно лишь спрятаться. И только тогда, когда дождь колотит по натянутому тенту, ты понимаешь непревзойденную важность самого монументального изобретения человечества — убежища.

Собственно, в этой исторической дистанции и заключается соблазн дикой природы. Путешествуя по чужим городам и странам, ты перемещаешься по узкому коридору экзотики протяженностью в одно-два столетия. Выбираясь на неделю в лес, ты совершаешь вояж на зарю истории, когда все еще было внове. Путь обратно прост, но значителен. Отпускное опрошение превращает нас в собственных предков, вынужденных бороться за существование отнюдь не только с начальством. На природе все потребности — насущные, а значит — неподдельные.

Сперва нужно обзавестись укрытием. Каким бы хлипким оно ни казалось, палатка обязательно становится домом — крохотный пятачок культуры, выгороженный в непомерном царстве природы.

Потом приходит черед огня. Пламя возгорается не от искры, а от пролитого пота, особенно, если сучья сырые. Зато я еще не встречал человека, включая пожарных, которые были бы равнодушны к живому огню. Электрический

свет мешает заснуть, костер нас будит. В моей российской юности это выражалось в пении:

— Ну, что, мой друг, грустишь? Мешает жить Париж?

В Америке он мне не мешает и, сидя у костра, я чаще думаю об обеде. По-моему, это не менее увлекательно.

Согласно моим давно устоявшимся убеждениям, лучше всего мы понимаем ту часть мироздания, которую можем проглотить: дух природы познается путем причастия. Одно дело бродить по лесу в поисках грез, впечатлений или рифмы. Совсем другое — собирать грибы, к тому же — на пустой желудок. Голод будит здоровые инстинкты, а вегетарианский характер охоты смиряет их кровожадность. Тем более что в Америке у грибника мало конкурентов.

В этом я убеждаюсь каждый раз, когда в мою корзину заглядывает доброжелательный американец неславянского происхождения. Опасливо оглядывая стройные подберезовики, он нервно спрашивает, что я собираюсь с ними делать. Узнав — что, прохожий умоляет не отчаиваться:

— Вы еще найдете работу.

Из жадности я никого не переубеждаю. Панический ужас Америки перед наиболее вкусной частью ее флоры мне на руку, и грибы мы едим с 1 мая до Рождества. Правда, однажды мне

встретился знаток из микологического общества. Брезгливо порывшись в корзине, он высокомерно обронил:

— Сыроежки едят только русские и белки.

Я промолчал, благоразумно утаив секрет соленой сыроежки с лучком и сметаной.

Обеспечив растительную часть обеда, можно переходить к рыбалке. Раньше, одержимый тщеславием, я, как старик по морю, гонялся за большой рыбой, теперь готов удовлетвориться любой. Меня убедил тот же самый Хемингуэй. Как-то его спросили:

— Какую рыбу вы предпочитаете ловить?

— Размером с мою сковородку, — ответил писатель.

Мне важней, чтобы рыба влезала в котелок. Благородство ухи в том, что по-настоящему вкусной она выходит только из пойманного — а не купленного — улова. С этической точки зрения кулинария безупречна: упорство и труды не пропадают втуне.

Вернувшись к охоте и собиранию, мы, наконец, начинаем относиться к еде, как она того заслуживает. Добыча пропитания, если его добывать не из холодильника, занимает почти весь день, придавая ему смысл и достоинство. Так ведь, собственно, и должно быть. Посмотрите на птичек небесных, которые клюют, не останавливаясь.

Субстанциальная забота о выживании меняет природу времени. Даже ничем не заполненные минуты (когда поплавок не тонет) приобретают ритуальное значение. Одно дело — ждать обеда, другое — рыбу, которая к нему не приглашена. Замысловатое устройство с крючком и леской держит нас в сосредоточенном напряжении, позволяя постичь природу времени лучше, чем тупые ходики, отрезающие от вечности одинаковые минуты.

Удочка остраивает время. Пространство остраивает дорога, тем более — тропа, особенно, если она ведет вверх. Поднимаясь в гору, ты вступаешь в противоборство с высшим законом — всемирного тяготения. Чем круче путь, тем больше вызов. Поэтому в горы я всегда хожу один: дураков нет. Во всяком случае, среди моих знакомых. Не в силах даже себе объяснить, зачем нам бороться с вертикалью, я вру про вершину, которая всякую прогулку обеспечивает наглядной целью. Но, честно говоря, деликатная мудрость зрелости заключается в том, чтобы оставить вершину непокоренной, не дойдя до нее ста шагов. Пока у меня на это не хватает ни ума, ни лени, я залезаю на все горы, до которых может добраться пылкий любитель без ледоруба.

Куда меня только не заносила нелепая страсть забираться в места, где заведомо нечего делать. Я видел окрестности Фудзиямы, пире

нейские пики, поднимался на скромные, но все-таки альпийские вершины. Но только с годами открыл свои любимые горы. Как это часто с нами случается, они были слишком близко.

Катскильские горы расположились под мышкой Нью-Йорка. На машине — часа два, если не застрять на придорожном базарчике, где в подходящий сезон торгуют розовощеками, как местные фермеры, яблоками, а в неподходящий — душистыми пирогами с теми же яблоками.

Свой звездный час Катскилы пережили в начале XX века, когда недалекие горы открыли для себя нью-йоркские евреи. Живя в зверской тесноте «коммуналок» Ист-сайда, они тосковали по простору — и прохладе.

Этого товара было вдоволь в горах, заманивавших горожан, еще не знавших кондиционеров, прохладными летними ночами. Фермы стали гостиницами, потом — курортами. В момент высшего расцвета, сразу после Первой мировой войны, здесь было 500 фешенебельных отелей — с бассейнами, полями для гольфа и еврейской кухней. Как ни странно, главной ее гордостью считался борщ, в честь которого Катскилы до сих пор носят кличку «борщевый пояс» — borsch belt.

Курортников развлекали артисты разговорного жанра, которые постепенно приучили и всю Америку к ипохондрическому еврейскому юмору, знакомому всем поклонникам Вуди Алле-

на. Последней звездой катскильской плеяды стал Джеки Мейсон, веселивший своими политически некорректными монологами Бродвей, Горбачева и королеву Елизавету.

С годами, однако, здешний курортный бизнес проиграл тропическим пляжам и иссох на корню. Вот тогда-то Катскилы вспомнили о своем мистическом прошлом и предложили себя американским буддистам. Недорогая земля, малолюдность, близость к Нью-Йорку и разлитый в здешней природе покой привлекли сюда монастыри. Одни прячутся в лесистых расселинах, другие вскарабкались на вершины, третьи стоят у горных ручьев. Скромно держась в стороне от дороги, они не столько изменили горный ландшафт, сколько дополнили его духовный пейзаж новой для этих мест религией. Сегодня монастырей здесь набралось уже так много, что они представляют все ветви древнего буддийского древа. Совершить паломничество по Катскилам — все равно, что побывать на Дальнем Востоке.

В прибрежной части Катскилов, возле поселка, который с обычной американской путаницей зовется Каиром, расположен целый храмовый городок китайских буддистов. По-праздничному красные павильоны с поэтическими названиями полны изваяний будд. В одном только храме святых аратов — пять тысяч статуй. У каждого из достигших просветления монахов свои

история, на которую они намекают позой, жестом, одеждой или улыбкой. Но для западного пришельца храм остается немым, как церковь для буддиста.

На западе, где восточная теология помещает рай, стоит японский монастырь. Уже у ворот вас встречают ласковые олени, будто знающие, что один из них был Буддой в прошлом рождении. Черно-белая геометрия приземистых построек отражается в холодном горном озере с ручными золотыми карпами. Внутри монастыря все пусто и голо: полупрозрачные раздвижные стены и пружинящие под ногой циновки. Из украшений — дымки курений, напоминающие о том воздушном замке, которым буддисты считают реальность. Зимой тут так тихо, что слышно, как огромные — с блюдце — снежинки лепят метровые шапки на ветках кривых японских сосен.

В центре Катскильских гор, на вершине крутого холма стоит самый красивый монастырь — тибетский. Здесь все золотое — шелковые иконы-мандалы, атласные подушки для медитаций, позолоченные будды и бодхисатвы, за которыми присматривает улыбочивый далай-лама с большого портрета, увитого подношениями паломников — белоснежными шарфами. По вечерам над монастырем раздается протяжный, как и положено в горах, вой длинных тибетских труб. Их можно услышать в лежащем чуть ниже Вудстоке.

Главная приманка туристов, богоискателей и хиппи, этот городок, наверное, — самый странный в Америке. Тут все устроено по вкусу чудачков, ищущих на Востоке того, чем их обделил Запад. Для них — вместо неизбежного молла — Вудсток держит «Ярмарку дхармы», конгломерат лавок с ритуальным товаром. В них можно встретить настоящего тибетского ламу, дзен-буддийского монаха с бритой головой, мью-йоркского профессора, рокера с татуированными иероглифами и просто бродяг без определенных занятий, но с широким кругом интересов.

Когда я заходил сюда в последний раз, хозяин — индус с косою — поставил запись буддийских мантр. Голос показался знакомым. Оказалось, Борис Гребенщиков, который записал в Вудстоке свой тибетский альбом.

— Всякая религия, — говорят историки, — начинается с чуда.

Человек открывает, что земля не всюду одинаковая. На ней есть места, где ощущается эманация, которую мы — за неимением лучшего — называем псевдоученым словом «энергия». Как все остальные, я не знаю, что это значит. Мне хватает того, что в Катскильских горах нельзя не ощутить благотворного потока, омывающего душу неспешной струей.

ЗИМОЙ В ВЕНЕЦИИ

В городе N не было ничего ни знакомого, ни нового. Мне показалось, что я уже здесь был. Обобщенный пейзаж не обещал приключений. Город со стертой индивидуальностью нерасчленим, как болото. Ты идешь по улице, которая ничем не кончается. Впечатления ограничиваются голодом и мозолями. Перестав смотреть по сторонам, глядишь под ноги, но там уж точно нет ничего интересного. В нудных краях приходится думать о себе больше, чем хотелось бы. Я предпочитаю живописные окрестности.

Живя в ганзейской Риге, я думал, что все города такие же, только больше. Вмешиваясь — сам того еще не зная — в вечный спор «реалистов» с «номиналистами», я отрицал существование реалий и не понимал, что значит город вообще. Анонимный населенный пункт — человек без лица. С ним нельзя общаться, выпивать, целоваться. Хорошо, что людей таких не бывает,

но с городами это случается. Лишенные исторической, а значит, чужой памяти, они вынуждены ее себе создать сами. Постороннему в этом не разобраться, и он бредет между скучных домов, как мимо спящих, не догадываясь об их снах.

Как и во всем важном, масштаб тут ни причем. В Риге, скажем, мне не хватало пространства: свой город я знал слишком хорошо. Только попав в Бруклин, я впервые встретился с тупым избытком урбанистского простора. Прохожий знал названный мною адрес и даже сказал, как туда дойти, но делать этого не советовал. Я все же отправился в простой путь по незатейливому проспекту. Три часа спустя номера домов стали пятизначными, но в остальном ничего не изменилось. Перемещение без впечатлений — чистый ход времени, ведущий только к старости. С тех пор я редко бываю в Бруклине и отношусь настороженно к незнакомым городам. Но и знакомые ведут себя по-разному, как я узнал зимой в Венеции.

В январе даже в Италии темнеет рано, а когда ночь прячет архитектуру от завистливого глаза, в городе остаются только луна, вода и люди. Молодых немного, разве что — гондольеры. Один обнимал красивую негритянку. Она могла бы быть правнучкой Отелло, если бы тот доверял Дездемоне. Но чаще всего на улицах — ста-

рики. Мягкое время года они пережидают в недоступных туристам щелях. Зато морозными вечерами старики выходят на волю, как привидения, в которых можно не верить, если не хочется. Живя в укрытии, они состарились, не заметив перемен. Дамы все еще ходят в настоящих шубах.

За одной (она была надета на пышную, как Екатерина Вторая, старуху) я ходил весь вечер. Роскошное манто ныряло в извилистые проходы, сбивая с толку лишь для того, чтобы призывно показаться на близком мостике. Я шел по следу с нарастающим азартом, пока старуха окончательно не исчезла в казино. Только тут мне удалось остановиться: я хорошо помнил, чем заканчивается «Пиковая дама».

Старики в Венеции носят пальто гарибальдиевского покроя. По странному совпадению я сам был в таком. Полы его распускаются книзу широким пологом, скрадывающим движения и прячущим шпагу, лучше — отравленный кинжал. Сшитый по романтической моде, этот наряд растворяется в сумерках без остатка. Чтобы этого не произошло, поверх воротника повязывается пестрый шарф. Нарушая конспирацию, он придает злоумышленникам антикварный, как все здесь, характер. Поэтому каждому встречному приписываешь интеллигентную профессию: учитель пе-

ния, мастер скрипичных дел, реставратор географических карт.

Одну из них я как следует рассмотрел в Дворце дождей. К северу от моря, которое мы называем Каспийским, простиралась пустота, ненаселенная даже воображением. Карта ее называла «безжизненной Скифией». На другом краю я нашел Калифорнию. За ней расстилалась другая пустыня: «земля антропофагов».

Не пощадив ни старую, ни новую родину, венецианская география предложила мне взамен такую версию пространства, которая лишает его здравого смысла. Здесь все равно — идти вперед или назад. Куда бы ты ни шел, все равно попадешь туда, куда собирался. Тут нельзя не заблудиться, но и заблудиться нельзя. Рано или поздно окажешься, где хотел, добравшись к цели неизвестными путями. Неизбежность успеха упраздняет целеустремленность усилий. Венеция навязывает правильный образ жизни, и ты, сдаваясь в плен, выбираешь первую попавшуюся улицу, ибо все они идут в нужном тебе направлении.

Отпустив вожжи, проще смотреть по сторонам, но зимней ночью видно мало. Закупоренные ставнями дома безжизненны, как склады в воскресенье. Редкое жильё выдает желтый свет многоэтажных люстр из Мурано. Просачивающийся сквозь прозрачные стекла (в них здесь

знают толк), он открывает взгляду заросшие книгами стены и низкий потолок, расчлененный балками, почерневшими за прошедшие века. Видно немного, но и этого хватает, чтобы отравить хозяина и занять его место.

Я поделился замыслом с коренной венецианкой, но она его не одобрила.

— Знаете, сколько в этом городе стоит матрац?

Я не знал, но догадывался, что с доставкой по каналам обойдется недешево.

— В наших руинах, — заключила она, — хорошо живется одним водопроводчикам: тут ведь всегда течет.

ПРАВО УБЕЖИЩА

Заповедник, где я прячусь от новостей военного времени, расположен между двумя транспортными артериями — шумной автострадой, привозящей пригородных жителей на городскую работу, и трудолюбивым Гудзоном, тесным от бесконечных баржей, сухогрузов и танкеров. Трудно найти в Америке более густозаселенное место. Ведь этот пятачок зелени — часть того 14-миллионного Большого Нью-Йорка, который так привольно раскинулся на землях трех штатов, что никто толком не знает, где он кончается. До моста Джордж Вашингтон, соединяющего Манхэттен с Америкой, отсюда всего пять миль. Даже на велосипеде — полчаса.

Тем удивительней контраст, покоряющий каждого, у кого есть ключ от ограды, охраняющей от внешней реальности эту часть нью-йоркской природы. Проволочная сетка в два человеческих роста окружает кусок Америки размером в 60 футбольных полей. Забор нужен для того,

чтобы не пускать посторонних внутрь, а своих (зверей) — наружу. Вход только для членов клуба, которым в обмен за ежегодный взнос в 40 долларов торжественно вручаются ключ и правила поведения.

Строгий, как в монастыре, устав запрещает тут делать все, чем мы обычно занимаемся, когда выбираемся на природу. Здесь нельзя есть, пить, курить, лаять, сорить, загорать, слушать музыку, читать газеты, собирать флору и приставать к фауне. Категоричность запретов сводит наше воздействие на среду до того минимума, когда от человека остается одна тень. Даже следы не отпечатываются на каменистых тропах, заботливо проложенных так, чтобы не мешать птицам гнездиться, цветам расти и зайцам переходить дорогу.

Скромность, а точнее смирение, которого требуют правила, радикально меняет наши отношения с природой. Не гордым хозяином, а робким гостем мы входим в чужой дом. Разницу чувствуем не только мы, но и они — звери. Дураков нет, во всяком случае, в заповеднике. Поняв, что к чему, сюда перебрался один Ноев ковчег животных. Только птиц — 245 видов, включая хлопотливую стаю диких индеек, выводок шумных дятлов, меланхолического аиста-холостяка и молодого белоголового орла, позволяю-

щего фотографировать свой державный профиль. В пруду живут карпы, размером с корыто, верткие нутрии и кусачие (это порода, а не характер) черепахи, откладывающие мягкие яйца (сам видел) на маленьком пляже. А в соседнем болотце одной лунной ночью мне повезло стать свидетелем романтической сцены — любовного ритуала лягушек. Теперь я точно знаю, откуда берутся головастики. Такого вам в сексшопе не покажут.

Есть в заповеднике и хищники — одичавшие собаки, которым ничего не стоит перебраться через забор. И еще — семейство осторожных лис. Весной их, как нас и тех же лягушек, обуревают любовь, и тогда в лесу пахнет ванилью — словно в пекарне. Но чаще всего мне встречаются в заповеднике олени. Многих я знаю в лицо, но они все еще не привыкли. Ходят за мной, как приклеенные, и рассматривают. Видимо, я им кажусь даже более интересным, чем они мне.

Конечно, в этой идиллии, как и в нашем мире, не обходится без войн. То на кости наткнешься, то на перья. Как-то я даже видел змею, поглощающую угря. Сюрреалистическое, надо сказать, зрелище: единоборство двух шлангов. Но хоть в эти схватки мы не вмешиваемся. На чужой территории нам приходится воздерживаться от давней привычки — отделять зерно от пле

вел, защищать добро от зла и разнимать палача с жертвой.

Этот карликовый Эдем называется «Greenbrook Sanctuary». Первое слово — название ручья, игривыми зигзагами пересекающего лес, чтобы обрушиться скромным водопадом со скал, украшающих нью-джерсийский берег Гудзона. Со вторым словом — сложнее. «Sanctuary» — не просто заповедник, это — еще и «убежище», причем в том древнем, дохристианском смысле, о котором мы давно забыли, а сейчас так кстати вспомнили.

Первобытные народы отводили часть своей земли под заповедные участки, которые строго охранялись от всякого ущерба. Экологическую чистоту, за которой так свирепо следили, оправдывало присутствие духов, населявших отведенные — или захваченные ими — места. Человек сам себе ставил передель в своем неостановимом преображении природы в культуру. Объявив определенную часть мира неприкосновенной, он назвал ее священным убежищем — от нас и для нас. Даже попавшие туда преступники оказывались в безопасности. Живущих в священной роще богов нельзя было раздражать видом кровопролития. Им не было дела до счетов, которые люди сводят друг с другом. Так, защищенную могучими табу природу не оскверняли ни

корысть, ни трудолюбие, ни дразги. Предоставленная самой себе, она жила по своим, а не нашим законам.

Именно такой — архаический — статус охраняет наш заповедник. Он служит убежищем не только для зверей, но и для людей, хоть на час убегающих сюда от культуры, которую они же и создали. Входя сюда, мы оказываемся по ту сторону цивилизации. И не только потому, что из всех ее примет здесь одна избушка натуралистки, следящей за не ею установленным порядком, но и потому, что соприкосновение с нетронутой природой меняет строй души, омолаживая ее на несколько тысячелетий.

Уроки нечеловеческого бытия помогают склеить душу, расколотую страхом и сомнениями. Природа — своего рода бомбоубежище, где можно перевести дух в безучастной среде. Для такого терапевтического воздействия лучше всего подходит та часть природы, к которой мы не имеем отношения — не клумба, а лес, не курица, а чайка, не пляж, а болото, не прирученная, а дикая природа. Тут ее спасли от одомашнивания, чтобы не превратить в достопримечательность.

Превращая лес и горы в объект осмотра, мы забываем, что природа — «не нашей работы», что главное ее свойство — нерукотворность. Она-то в отличие от нас была всегда. Мы для

нее — случайная выходка эволюции. Может, она и не в силах исправить эту ошибку, но это еще не повод, чтобы нам об этом забывать.

Робко приходя к ней в гости, человек встречается с миром, не предназначенным для него. Оттого природа и кажется безразличной, что мы на нее не похожи. Дерево не знает, что оно — часть пейзажа. Оно живет само по себе. И эта принципиально иная жизнь дает нам материал для сравнения. Безразличие природы лечит, меняя привычный масштаб. Мир был до нас и будет после нас. Человек в нем гость, причем незванный. Безучастность природы выводит из себя. Зато нам есть, куда вернуться.

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Нью-Йорк — город зрелищ, точнее — город-зрелище. В отличие от других мировых столиц — Лондона, Парижа, Петербурга — он, как бы мы ни любили О. Генри, не поддается литературному освоению. Даже Бродский признавал этот обидный для читателя факт.

«Нью-Йорк, — говорил поэт, — мог бы описать только супермен, если бы он решил сочинять стихи».

Пока этого не произошло, и свои, и чужие полагаются на зрительные образы, которые выбалтывают городскую подноготную в свойственной Нью-Йорку манере — громко, но загадочно. Часто город говорит с нами архитектурным наречием, охотно — диалектом витрин, обычно — «шершавым языком плаката», рекламного, конечно.

Если западная столица Америки — фабрика иллюзий, то восточная — мастерская штампов, или, что то же самое, — лаборатория архетипов. Там, где в Лос-Анджелесе Голливуд, в Нью-Йорк

ке — Мэдисон-авеню. Рекламная версия видеократии реальность не разбавляет, как кино, а прессует, как картина, увеличивая емкость образа до того предела, за которым покупатель тянется к бумажнику. (Из тертого ньюйоркца легче выдавить слезу, чем доллар.)

Живя в тесном родстве со своим старшим братом — искусством, реклама охотно пользуется его покровительством. В Нью-Йорке не обязательно ходить в музеи, чтобы узнать, какая выставка пользуется сенсационным успехом. Модное выплескивается на улицы афишами и покромом, определяя на целый сезон стиль города, его изменчивый и навязчивый облик.

Каким только я не видал Нью-Йорк за проведенные в нем треть века. Но лучше всего ужился с Нью-Йорком, конечно, Малевич, надолго зашифровавший город своим супрематизмом.

Оно и понятно. Опережая календарь, Нью-Йорк всегда любил будущее, в жертву которому русское искусство так охотно приносило настоящее. Сегодня, однако, этот футуристический брак распадается, причем как все в Нью-Йорке — прямо на наших глазах.

Сходит на нет функциональный минимализм, которому город обязан длинными улицами плоских коробок. Линяет моя любимая эстетика Сохо, романтизировавшая индустри-

альные руины. Но главное — мельчает пафос больших градостроительных идей. Убедительней всего это показал конкурс на лучший проект комплекса, призванного заменить разрушенные «близнецы». Именно убожество предложений, разочаровавших и мир, и город, доказывает, что Нью-Йорк перестал вписываться в созданную, казалось бы, прямо по его выкройке идиому модернизма. На смену ему, решусь сказать, идет не новый стиль, а старое мировоззрение, заново открывающее отвергнутую тремя предыдущими поколениями цивилизацию.

Как теперь принято говорить по любому поводу, все началось 11 сентября. Алчный купец и богемный художник, Нью-Йорк, напроць лишенный героического прошлого, пацифист по своей натуре. Поэтому свою первую антивоенную демонстрацию он учинил уже на третий день. Она состоялась в парке Юнион-сквер, на 14-й-стрит. Все улицы южнее были закрыты для движения. Спасатели с собаками еще надеялись найти выживших, дыра на месте близнецов дымила, и люди ходили в масках. Дышать было трудно, и погибших еще не опознали.

С тех пор прошло достаточно времени, чтобы жизнь вошла в колею, но не в свою, а в чужую. Война стала политикой, страх — условием

существования. Ньюйоркцы привыкли ругать президента, с испугом открывать газеты и проходить через металлоискатели, ставшие самой непременной частью городского пейзажа.

Постепенно приспособливаясь к реальности XXI века, мы подсознательно ищем ему стилевую рифму, без которой не умеем обжить свое время. Двадцатое столетие, как писали его философы от Бердяева до Умберто Эко, считало себя «новым средневековьем». Окончившись падением Берлинской стены, эта бурная эпоха перепрыгнула, как тогда думали многие в викторианский XIX век с его головоломным геополитическим пасьянсом, хитрой дипломатической игрой, сложным балансом сил и степенным движением к «концу истории». Но на самом деле это была лишь благодушная интермедия, затесавшаяся между двумя грозными веками. По-настоящему новое столетие началось лишь 11 сентября, когда нам приоткрылась его сквозная тема — борьба с варварством.

Суть этого переворота в том, что измученный тоталитарной гиперболой XX век, век Пикассо, зеленых и хиппи, любил «благородного дикаря», обещавшего освободить нас от бремени цивилизации. Теперь с этим справился террор.

Даже сегодня, после многих лет экспертизы и целой библиотеки аналитических книг, мы так толком и не знаем, кто и за что с нами воюет. Зато каждому ясно, что главной жертвой этой войны может стать цивилизация, та хитроумная машина жизни, работу которой мы перестали замечать, пока террористы не принялись уничтожать ее детали. Взрывая и нивелируя, террор компрометирует прежнего идола – простоту, возвращая всякой сложности давно забытое благородство.

Перед угрозой нового одичания Нью-Йорк стал полировать свои манеры. Омраченная потрясением жизнь образует сегодня иной, более изысканный узор. Никогда Нью-Йорк не был так чуток к дизайну, к оттенкам красоты и нюансам вкуса. Война обострила радость цивилизованных мелочей, повысила эстетическую чувствительность города, придав ей подспудный, но демонстративный характер: скорее Оскар Уайльд, чем Лев Толстой.

Чуждый амбициозному плану Вашингтона улучшить весь мир, Нью-Йорк стремится украсить хотя бы себя. Характерно, что быстрее всего сегодня тут растет сеть магазинов «Домашнее депо», торгующих тем, что может придать блеск и уют вашему жилью.

Так, напуганный грядущим, Нью-Йорк ищет спасения в старом рецепте Вольтера:

«Я знаю также, — сказал Кандид, — что надо возделывать свой сад».

Проверенный историей ответ на вызов террора — рафинированный разум нового Просвещения, открывшего нашей эпохе ее истинного предшественника — XVIII век.

Эта мысль поразила меня в музее Метрополитен, на открытии очень своевременной выставки. Ее назвали по знаменитому роману, ставшему целым рядом популярных фильмов — «Опасные связи». С помощью костюмов, мебели и безделушек кураторы музея рассказали о непревзойденной по элегантности предреволюционной Франции — эпохе Людовика XV и мадам Помпадур, легкомыслия и педантизма, безбожия и красоты, всеобщего закона и бездумной прихоти.

Я пристрастился к этому совсем уж чужому нам времени лишь тогда, когда обнаружил в нем забытые в XX, но актуальные в XXI столетии достоинства. XVIII век — первая примерка глобализации — объединил Запад своим универсальным вкусом, сделавшим все страны Европы неотличимыми друг от друга.

Когда я читал бесконечные и, честно говоря, скучные мемуары Казановы, меня поразило, что великий авантюрист объездил весь цивилизованный мир, ни разу не споткнувшись о нацио-

нальные особенности. Он всюду чувствовал себя как дома — от столичного Парижа до моей провинциальной Риги, узнать которую мне в его писаниях так и не удалось.

Как в сегодняшнем интернациональном молле, Европа была бескомпромиссным космополитом. Она говорила на одном языке — рококо, поклонялась одной богине — Венере.

От этой странной эпохи до нас, кажется, ничего не дошло, кроме, конечно, самой цивилизации, которую и придумал, и окрестил XVIII век. Забираясь в его шелковые потроха, мы находим в них драгоценную игрушку, ставшую тем, что теперь зовется Западом, давно, впрочем, распространившимся на все четыре стороны света.

В XVIII веке цивилизация была еще совсем хрупкой причудой, занимавшей лишь ту тонкую прослойку (меньше 1%), которая могла себе позволить предельно усложнить жизнь, лишив ее всего естественного. Природа и культура словно поменялись местами. Регулярный дворцовый парк стал торжеством геометрии, зато интерьер превратился в лес чудес. Снаружи все подчинялось расчету и логике, внутри правил криволинейный произвол.

Обольщенная краснодеревщиками натура ласгалась сладострастными изгибами. Письменный

стол подражал раковине, книжный шкаф обвивали лианы, столы росли из ковра, по которому разбегались стулья на паучьих ножках. Всю эту деревянную флору и фауну пышно, как мох — камни, покрывало золото, растущее на стенах, шкафах и канделябрах.

Французы не жалели драгоценного металла, предпочитая держать национальный золотой запас не в тупых кирпичках, а отливать из него обеденные сервизы.

На вызов роскоши художники ответили тем, что заменили высокое искусство прикладным — не снижая стандарты. Низойдя с неба на паркет, музы стали домашними, ручными. Главная черта этой эстетики — тактильность. Богатые ткани, экзотическое дерево, полупрозрачный северский фарфор ждали прикосновения, как обнаженные красавицы Буше и одетые — Фрагонара.

Однако в музеях, лишенные живительного контакта с телом, вещи эти стали немим антиквариатом. Еще сто лет назад Метрополитен завалил им свои самые скучные залы. Чтобы оживить эти непеременимые в каждой столице дворцовые апартаменты, выставка запустила в них, как золотых рыбок в аквариум, женщин. Разодетые манекены, наряженные в бесценные платья уникального Института костюма,

разменяли большую парадную Историю на множество мелких историй — сплетен, анекдотов, романов.

Женщина была в центре рождающейся цивилизации и рифмовалась с ней. Галантность — томная задержка перед развязкой, которая преобразует жизнь в ритуал, нас — в кавалеров, дам — в архитектурные излишества.

Нигде и никогда женщины, да и мужчины, не одевались так сложно, дорого и красиво, что теряли сходство с людьми. Силуэт правильно наряженной дамы повторял очертания парусного корабля. Корму изображала юбка, натянутая на фижмы (каркас из ивовых прутьев или китового уса). В таком платье дама могла пройти в дверь только боком, сесть только на диван и ходить только павой, причем — недалеко.

Стреножив свой царственный гарем, XVIII век не уставал любоваться его парниковой прелестью. Став шедевром декоративного искусства, женщина наконец оказалась тем, чем мечтала — бесценным трофеем, венцом творения, драгоценной игрушкой. Подстраиваясь под нее, окружающее приобретало женственность и уменьшалось в размерах. Даже охотничьи псы съезжились до комнатных пекинесов.

Роскошный обиход этого кукольного дома соответствовал и форме, и сущности главной иг-

рушки эпохи – самой цивилизации. Прежде чем стать собою, она должна была обратить взрослых в детей, поддающихся педагогическому гению просветителей. Они ведь искренне верили, что всех можно научить всему.

«Когда грамотных будет больше половины, – говорили энциклопедисты, – всякий народ создаст себе мудрые законы неизбежной утопии».

Долгий опыт разочарования, открывшийся Французской революцией, сдал эти наивные идеи в архив истории. Но в глубине души мы сохраняем верность старой и опасной мечте: цивилизацию, что растет на удобренной разумом и конституцией грядке, можно пересадить на любую почву.

Нью-Йорк, впрочем, предпочитает начать с себя.

ТАВРОМАХИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

В Канаде интеллигентные люди не любят хоккей, в Англии — футбол, в Японии — сумо, в Италии — мафию, в Испании — корриду. Это и понятно. Мы тоже не желаем, чтобы иностранцы видели в нас медведей или космонавтов. Никому не хочется соответствовать национальному стереотипу. Гордые выделяются из толпы, остальные ценят то, что делает уникальным их культуру. Например — корриду.

Встав с Европой вровень, Испания еще не изжила провинциальных комплексов. Поэтому она прячет от иностранцев все, что отличает ее от них. В том числе — бой быков.

Коррида не подходит к круассанам. Она слишком вульгарна и простонародна. Ее слегка стесняются.

Коррида — это атавизм, вроде хвоста, киотских гейш, костоломного бангкокского бокса или карибских петушиных боев.

Не то чтобы вас не пускали на корриду. Конечно, нет, тем более, что ее не скроешь — о ней напоминает афиша на каждом столбе. Другое дело, что мадридские гиды предпочтут повести вас в оперу, барселонские — в собор, остальные — отправить на пляж.

Но вы не даете себя провести. Вы знаете, что такое коррида, отличаете пикадоров от матадоров и даже немного говорите по-испански: мулета, колета, карамба. Вы держите в голове все ритуалы тавромахии, ибо выросли на Хемингуэе, смотрели Гойю, слушали «Кармен» и читали в отечественной прессе репортажи, начинающиеся словами, которыми св. Августин описывал гладиаторское сражение:

«Сперва это жестокое зрелище оставляло меня равнодушным».

Короче, вы знаете все — но не себя. Вы не знаете, как отнесетесь к тому, что через полчаса на нарядной арене совершится зверское убийство, оплаченное, кстати сказать, и вашим билетом. Честно говоря, вы и пришли-то сюда только затем, чтобы это выяснить.

Дилетанту понять корриду проще, чем знатоку. Мы смотрим в корень, потому что видим происходящее незащищенными привычкой глазами. Новизна восприятия компенсирует невежество. Пусть мы неспособны оценить мужествен-

ную неторопливость вероники, пусть нас не трогает отточенность матадорских пируэтов, пусть мы только по замершему дыханию толпы судим о дистанции, разделяющей соперников.

Мы видим лишь то, чего нельзя не заметить — всадников на лошадях, милосердно одетых в ватные латы, и потешно наряженных пеших. Сверху они напоминают оживший набор оловянных солдатиков. Тем более что их оружие — крылатые бандериллы и пики с бантами — выглядит игрушечным.

Самый невзрачный в этой компании — виновник происходящего. Не больше коровы, он выглядит не умнее ее. Лишь вдоволь упившись пестрой парафернальной корриды, вы начинаете уважать компактную, как в 16-цилиндровом «Ягуаре», мощь быка. Равно далекий хищникам и травоядным, он передвигается неумолимо, как грозовая туча, видом напоминая стихию, духом — самурая. Чтобы он ни делал — невозмутимо пережидал атаку или безоглядно бросался на врага, ярость в нем кипит, как свинец на горелке. Собаки нападают стаей, кошки — из-за угла, но бык — всегда в центре событий. Завоевав наше внимание, он постепенно подчиняет себе всех, превращая мучителей в свиту.

Только тот бык, который утвердился в царственном статусе, заслуживает право на поединок.

Прежде чем сразиться с быком, человек должен признать в нем равную себе личность. Как и мы, бык не может избежать смерти, но, как и мы, он волен выбрать виражи, ведущие к ней.

Коррида — та же дуэль, где джентльмен не скрестит шпаги со слугой, ибо подневольный человек лишен достоинств свободного. Равноправным соперником быка делает свобода воли, а не тупая сила — никому ведь не придет в голову драться с трактором.

Животными, впрочем, тоже можно управлять — как лошадю. Их можно стричь, как овец, доить, как корову, есть, как свиней, и разводить, как кроликов. Однако высшее предназначение зверя состоит в том, чтобы с ним сражаться. Все наши битвы — междуособицы, коррида — война миров.

Бык таинственен и непредсказуем, как природа, которую он воплощает. Это — та же природа, что заключена в нас. Чтобы верно понять смысл поединка, представим себе, что бык — это рак, с которым надо бороться не в больничной койке, а на безжалостно залитой солнцем арене.

Сражаясь с быком, мы сводим счеты со своим прошлым. Бык — это зверь, которым был человек. Чтобы мы об этом не забывали, на арену выходит тореро.

Если угодно, матадор – это антибык: предел рафинированной цивилизации. С трибуны он выглядит аккуратной шахматной фигуркой. Сложный и дорогой наряд, доносящий до нас моду прекрасного просветительского века, символизирует красоту и порядок. Узорчатый жилет, белые чулки, тугие панталоны – от золотого шитья на матадоре нет живого места. Так выглядел Грибоедов в парадном мундире посланника. По песку, конечно, лучше бы бегать в трусах и кроссовках, но именно неуместность костюма оправдывает его старомодную роскошь. Мы не требуем фрака от футболиста, однако ждем его от гробовщика. Мистерия убийства достойна торжественных одежд. К тому же матадору должно быть не удобно, а страшно.

На арену матадор выходит не спеша, давая себя разглядеть и собою насладиться. Все мужчины ему завидуют, все женщины его любят. Он – избранник человеческого рода, честь которого ему предстоит защищать. Матадор должен показать, чего стоит невооруженный наганом разум, когда он остается наедине с природой.

В такой перспективе коррида не имеет ничего общего со спортом – она глубже его. Говоря проще, коррида нас пугает. Как романы Достоевского, она не может обойтись без убийства.

Тавромахия — это искусство парадной смерти. Без нее матадорские фуэте теряют смысл, как ласки без оргазма. Только смерть, наделяя inferнальной глубиной карнавальные шалости, придает корриде вес и значение. Но неуклюжее убийство — позорная казнь. Нет ничего страшнее неумелого палача. Мучая зрителей больше быка, он тычет врага, пока тот не истекает кровью, освободив нас от зрелища своих страданий. Бедная коррида, которой часто довольствуются в Латинской Америке, не имеет право на существование. Как всякая нищета, она унижает не только тех, кто от нее страдает. Удавшуюся корриду должен завершать удар, оправдывающий смерть.

Вы догадываетесь о том, что дело подходит к концу по аскетической серьезности происходящего. На арене прекращается многолюдная суета. Кончилось время опасных игр. Сорвав овации, матадор уже показал себя, но лишь последнее испытание делает его достойным своей профессии. До сих пор он пленял выучкой, мастерством и смелостью, теперь он должен проявить характер. Отбросив эффектные позы, забыв о себе и зрителях, он стоит, как вколоченный, вызывая быка на атаку.

Бык не выдерживает первым. Нагнув рога, он бросается в бой со стремительностью ядра и

инерцией поезда. Сдержать этот приступ может лишь то, что сделало нас царем природы: воля и интуиция. Первая нужна, чтобы не дрогнуть, дожидаясь нужного момента, вторая — чтобы выхватить его. В это единственное мгновение матадор должен нанести удар в уязвимое место, размером не больше яблока.

В момент высшей сосредоточенности все движения приобретают обманчивую замедленность. Кажется, что матадор остановил время. Вошедшая до рукояти шпага убивает быка раньше, чем он об этом узнает. Продолжая порыв, туша еще несется вперед, но это уже не крылатый порыв, а судорога трупa. Бой завершился смертью одного и победой обоих.

Трудно спорить с теми, кто считает корриду варварским зрелищем. Живая окаменелость, коррида — машина времени, переносящая к заре мира, когда люди боролись за существование не с собой, а с другими. Возвращаясь в эту героическую эпоху, коррида обнажает корни жизни и оголяет провода страсти. Поэтому я всем советую побывать на корриде, хотя далеко не каждому стоит на нее возвращаться.

Я, например, не собираюсь. Дело не в том, что мне больно смотреть на быка. Я даже не против поменяться с ним местами, чтобы умереть легко и разом, как перегоревшая лампоч-

ка. Мне не жалко рожденного для этого часа быка. Он уходит в разгаре сил, красоты и ярости, сполна прожив свою жизнь. У быка не осталось дел и долгов, и шпага принесет ему меньше мучений, чем старость.

Мне, повторяю, не жалко быка. И на корриду я не пойду, сочувствуя не ему, а матадору.

Каждый убийца наследует карму своей жертвы, и я слишком давно живу, чтобы выяснять отношения с природой. Ее голос звучит во мне все слабее. Мне б его не глушить, а слышать.

ПОЧТИ ПО БЕККЕТУ

В двадцать лет я решил жениться. Как водится, одна крайность повлекла за собой другую. В поисках заработка я оказался в пожарной охране, где на протяжении двух лет проводил каждые четвертые сутки.

Примостившаяся у заводского забора, наша пожарка состояла из двух комнат без окон. В первой помещался неработающий телевизор, во второй — стол для игры в домино. Вдоль стен тянулись топчаны, но я предпочитал жить в гараже вместе с нарядной пожарной машиной. Воздух там был холодней и чище.

Зимой я бинтовал поясницу шарфом, надевал кирзовые сапоги, застегивал пальто, поглубже нахлобучивал ушанку и укладывался читать на санитарные носилки, украденные с машины «скорой помощи», которую выпускал охраняемый нами завод, когда ему хватало деталей.

Даже в Новый год я предпочитал мороз коллегам и жалел только о том, что приходи-

лось снимать варежки, чтобы переворачивать страницы.

Но и в таком виде я превосходил остальных нормальностью. Я приходил сюда из дома и на время. Им идти было некуда — пожарка не заметила дом, а была им. Я рвался наружу, они — внутрь. Их нельзя было прогнать с работы, и когда кончалась смена, они прятались в сортире, чтобы провести лишний час в тепле и уюте. Разумеется, все они были безнадежными алкоголиками, но я так и не понял, была ли водка причиной их жизни или ее следствием.

Все это напоминало Беккета. Нас окружали либо сломанные, либо лишние вещи, но каждая из них играла свою роль в этой драме абсурда. Полоумный телевизор, например, говорил, но не показывал. Физический недостаток придавал аппарату неожиданную значительность, которой решительно недоставало его программам. Поскольку природа телевизионного текста не терпит описательности, мои пожарные компенсировали слепоту экрана воображением. Это придавало пикантность даже дневнику социалистического соревнования. Пытаясь внести лепту в общий досуг, я починил телевизор — попросту повернул ручку яркости. К следующей смене ее оторвали с мясом, а я научился обходиться без топчана. Товарищи мои тоже редко им пользова-

лись. Они проводили ночи там, где их оставляло вакхическое вдохновение — в шкафу, на полу или за столом, который считался самым ценным предметом обстановки. За ним даже не ели. Застеленный свежей газетой стол был полем боя.

Домино — бесстрастная, как азбука Морзе, вязь точек, призывающих к сухому союзу продолговатые костяшки. Втыкаясь штепселем в розетку, домино ветвится, не принося плодов. Высокая в своей бескорыстности игра шла без денег и прерывалась только измождением, вызывая попутно такие чувства, какие в нас будят самые темные страсти тела и самые светлые души.

Подобно многим культам, связанным с поклонением козлу, домино разыгрывает мистерию любви, но — однополой. Этим оно отличается от карт, где жовиальная кутерьма дам, королей и валетов напоминает о свальном грехе, а иногда и ведет к нему, что случается в покере с раздеванием.

Если карты — схема жизни, то домино — ее перверсия. Именно потому оно так тесно вписывалось в устройство пожарной службы.

Путь сюда вел в обход всякой нормы. В отличие от монастыря, тюрьмы и казармы здешняя мужественность не допускала исключений. Опустившиеся мужчины, как ангелы, теряют способность грешить. Они скорее боятся женщин, чем мечтают о них. Из желанного объекта обладания

женщина становится источником карательной власти — продавщицей, санитаркой, вахтером.

Истребив женское начало, пожарные создали безоговорочно импотентный пейзаж, в котором не осталось место природе. Они так мало ждали от окружающего, что тому не удавалось им в этом отказать. Лучше всего эту уникальную ситуацию описывает фраза того же Беккета. Его поселившийся под перевернутой лодкой герой признается читателю:

«Что же касается моих потребностей, — говорит он, — они сократились до моих размеров, а с точки зрения содержания сделались столь утонченными, что всякая мысль о помощи исключалась».

Ни перед чем не останавливаясь, пожарные добились того, что алкоголь вытравил из них все инстинкты, кроме самосохранения, заставлявшего их сдавать бутылки. Борясь с плотью, они искореняли ее в себе самыми изобретательными способами.

Помимо очевидного, в дело шел очищенный на сверлильном станке клей БФ, разведенная зубная паста, хлеб, пропитанный гуталином, вымоченное в тормозной жидкости полотенце и, конечно, политура. В морозные дни ею поливали подвешенный ломик: посторонние примеси примерзали к железу, повышая градус того, что стекало.

Глядя на меня с высоты своего изощренного опыта, они делились бесстрашной мудростью:

— Вас, студентов, пугают метиловым спиртом. Вам говорят, что от него слепнут. Но ведь не все!

Освободившись от того, что мешало домино и выпивке, пожарные ненавидели все живое и истребляли его повсюду, где оно еще встречалось. Саженец березы поливали кипятком. На куст сирени, чудом пробившийся сквозь колючую проволоку заводской ограды, ушел последний огнетушитель. Что касается клумбы с Терешковой, то на нее мочились до тех пор, пока завядшие гвоздики не исказили черты героини на цветочном портрете.

Презирая естественное, пожарные млели от механической жизни и с завистью глядели на конвейер, позволявший размножаться, не раздеваясь. Привыкнув спать одетыми, они месяцами не снимали штанов. Наше форменное галифе, в котором я из хитроумия ходил сдавать экзамены, надежно укрывало пожарных от тела. Оно претило им, как всякая органика, не смиренная бутылкой.

Еда у них считалась естественным отпращиванием, и ей доставался метаболический минимум внимания. Выпивая без закуски (чтобы сильнее стукнуло), пожарные ели по одиночке, стоя от отвращения. Отдавая предпоследнюю дань природе,

они пользовались самым компактным продуктом — плавлеными сырками. Трех штук хватало на весь день.

Труднее всего пожарное ремесло давалось начальнику караула. Он вел журнал происшествий, отсутствие которых ежедневно скреплялось подписью. Толстая амбарная книга считалась символом власти и хранилась в столе рядом с домино. Так продолжалось до тех пор, пока как-то ночью нас не навестило начальство, сдуру затеявшее проверку. Сигнал тревоги поднял на ноги только меня — остальные не стали беспокоиться. На память о себе гости оставили лаконичную надпись:

«Караул пьян, завод беззащитен».

Утром выяснилось, что стереть пятно с нашей репутации не было никакой возможности, ибо все страницы книги были тщательно пронумерованы. Журнал бросили в выгребную яму, что значительно упростило пожарное дело всем, кроме меня.

Как самый молодой и по их меркам непьющий, я по-прежнему был топорником и работал с рукавом, который профаны называют брандспойтом. Один конец этого брезентового хобота накручивался на гидрант, другой следовало держать, пропустив по спине, широко расставленными руками. Водяная струя, нагнетаемая насосом пожарной машины, способна развить

давление в 12 атмосфер и перерубить тлеющую балку, не говоря о человеке.

С ее силой я познакомился на практике, когда дежурил в лакокрасочном цехе. Зачитавшись Гончаровым, я не сразу обнаружил возгорание, а когда мне на него недвусмысленно указали, поторопился направить рукав на потолок, но попал в сварщиков. С лесов они послетали, как утки в тире. В результате огонь залили из ведра, и только после того, когда меня удалили с территории.

Несмотря на фиаско, я не разлюбил пожарных и люблюсь их работой каждый раз, когда представится случай. Боясь накликать беду, я не берусь назвать пожар красивым. Скорее он прекрасен в своей смертоносности, как всякий парад стихий. Живя по другим правилам, огонь подчиняет своей астральной природе нашу трезвую физику. Огненные языки подражают зыбкой архитектуре сна. Огонь творит наоборот — не создавая, а уничтожая. Он расплетает ткань бытия, завершая ее существование величественным фейерверком.

Впрочем, огонь был не причиной, а поводом нашего пребывания на работе. Окончательно это выяснилось, когда завод сгорел, пока я был в отпуске. Рабочим удалось спасти в дым пьяных пожарных, но больше я их никогда не видел, только во сне, хотя и наяву думал о них чаще, чем о тех, кто достоин вроде большего внимания.

ЧЕСУЧА И РОГОЖА

— А правда, что все журналисты мечтают написать роман?

— Нет, — солгал я.

«Компромисс»

Я всегда верил в коммунизм больше власти, которая его исповедовала. Не разделяя догматы собственной религии, она забыла мистирию труда и свирепо наказывала всех, кто хотел хорошо работать. Например — Довлатова. Родина мешала ему заниматься тем, что было полезно обоим. Собственно, только поэтому все мы и перебрались через океан. Нашей американской мечтой был, однако, не дом с лужайкой, а по-прежнему субботник: «свободный труд свободно собравшихся людей». Более того, нам удалось добиться своего. Мы построили коммунизм в одной отдельно взятой газете, которая продержалась дольше Парижской коммуны и сделала нас всех счастливыми.

Как и в другом — большом — мире, капитализм, конечно, одержал победу над коммунизмом, но не раньше, чем у нас кончились деньги. За год «Новый американец» заработал 240 тысяч долларов, а потратил 250. И никто так и не придумал, как эти нехитрые цифры поменять местами.

Теперь, четверть века спустя, историки Третьей волны считают цыплят по осени и попрошат подшивку «Нового американца», чтобы найти ему объяснение. По-моему — напрасно. Газета, как радуга, не оставляет следов. Она вся процесс, а не результат, сплошная сердечная суета, воспоминание, не требующее документа. Так было, вот и слава Богу.

Довлатов не помещался в газете, но она ему нравилась. Иначе и быть не могло. Газета была порталом советской литературы, ее пропилеями и проходным двором. Другого пути в официальную словесность не существовало, и Сергей принимал это как должное. В поисках случайного заработка и приблизительного статуса, Довлатов служил в самых причудливых изданиях. Судя по его рассказам, он был королем многотиражек. В это, конечно, легко поверить, потому что Сергей умел любую халтуру украсить ловкой художественной деталью. Например такой.

Когда знаменитый джазовый пианист Оскар Питерсон чудом оказался в Таллине и даже выступил там, Сергей написал на концерт газетную рецензию, которая заканчивалась на верхней — хемингуэевской — ноте:

«Я хлопал так, что у меня остановились новые часы».

Тридцать лет спустя мой коллега и тоже большой любитель джаза Андрей Загданский принес в студию запись того самого таллинского концерта Оскара Питерсона — 17 ноября 1974 года. Мы пустили запись в эфир, предупредив, что в овации, которые то и дело прерывают музыку, вплелись и довлатовские аплодисменты.

Мастерство Сергея, которым он расчетливо делился с прессой, льстило редакторам. Как все люди, включая партийных, они хотели, чтобы их принимали всерьез даже тогда, когда руководимый ими орган ратовал за трудовые победы. Довлатов хвастался, что во всей России не было редактора, который не прощал бы ему запоев.

Накопив множество воспоминаний о газетной страде, Довлатов привез в Америку мстительный замысел. Собрав подборку цитат из своих материалов, он использовал их в качестве эпиграфов к выросшей из газет книге «Компромисс». Я слышал, что филологи Тарту собирались разыскать эти тексты в библиотечных под-

шивках, но сомневаюсь, что они их там найдут. Сергей любил фальсификации, замечательно при этом пародируя источники, в том числе и собственные. Он виртуозно владел особым, романтически приподнятым стилем той части газеты, которая писала про обычную, а не коммунистическую жизнь. Пробравшись на эту (обычно последнюю) страницу, автор, компенсируя идеологическую тесноту повышенной метафоричностью, воспарял над текстом. Ни разу не запнувшись, Довлатов мог сочинить длинную лирическую зарисовку с универсальным, как он уверял, названием «Караван уходит в небо».

Дело в том, что напрочь лишенная информационной ценности всякая советская газета была литературной газетой. Такой она, в сущности, и осталась, вновь оказавшись в арьергарде. Но тогда, четверть века назад, мы об этом даже не задумывались. Газета была нашим субботником, Довлатов — его главным украшением.

Когда Сергей появился в Нью-Йорке, эмигрантскую прессу исчерпывало «Новое русское слово», орган, отличавшийся от советских газет лишь тем, что был их антисоветским приложением. Возможно, сейчас я не стал бы так критично отзываться о газете, где еще встречались ветераны Серебряного века — критик Вейдле или философ Левицкий. Но в молодости нам до них

не было дела. Все мы хотели не читать, а писать. Печатать же написанное опять было негде.

Разобравшись в ситуации, Довлатов быстро созрел для своей газеты. Образовав непрочный и, как оказалось, случайный альянс с тремя товарищами, Сергей погрузился в газетную жизнь. Первые 13 недель мы следили за «Новым американцем» со стороны — с опаской и завистью. Но вскоре Довлатов сманил нас с Вайлем в газету, которую он считал своей, хотя такой ей еще только предстояло стать. Мы поставили редакции одно условие — назначить Довлатова главным редактором. Этот шаг представлялся естественным и неизбежным. Сергей еще не успел стать любимым автором Третьей волны, но как его восторженные читатели мы были уверены в том, что долго ждать не придется.

Сперва Довлатов лицемерно, как Борис Гюдунов, отнекивался. Потом согласился и с наслаждением принялся руководить. Больше всего ему нравилось подписываться: о том, кто главный редактор «Нового американца», знал читатель почти каждой страницы. Довлатову всегда нравилась проформа, он обожал заседать и никогда не жалел времени на деловые — или бездельные — переговоры.

Лишь намного позже я понял, чем для Сергея была его должность. Привыкнув занимать поло-

жение неофициального писателя и принимать как должное связанную с ним ограниченную популярность и безграничную безответственность, Довлатов, наконец, дослужился до главного редактора. Он дорожил вновь обретенным положением и принимал его всерьез. Когда в сложных перипетиях газетной борьбы издатели попытались формально отстранить Сергея от поста, сохранив при этом за ним реальную власть, Довлатов сказал, что предпочитает форму содержанию, и все осталось, как было.

В газете Сергей установил конституционную монархию самого что ни на есть либерального образца, проявляя феноменальную деликатность. Он упивался демократическими формулами и на летучках брал слово последним. Но и тогда Довлатов оставлял за собой право критиковать только стиль и язык, заявляя, что на остальное его компетентность не распространяется. Несмотря на узость поставленной задачи, его разборы были увлекательны и познавательны. Сергей важно бравировал невежеством, обладая при этом неординарными знаниями. Я, например, понятия не имел, что чесуча — дорогая шелковая ткань. Гриша Рыскин этого тоже не знал, поэтому и нарядил в чесучу — и рогожу — бездомных из своего темпераментного очерка. В сущности, пируя на газете, мы и сами были такими.

Самое интересное, что Довлатова в «Новом американце» действительно волновала только форма — чистота языка, ритмическое разнообразие, органическая интонация. И тут он оказался совершенно прав. Не сказав ничего особо нового, «Новый американец» говорил иначе. Он завоевал любовь читателя только потому, что обращался к нему по-дружески, на хорошем русском языке. Газета стряхнула идиотское оцепенение, которое охватывало нас в виду печатной страницы. При этом Сергей с его безошибочным литературным вкусом вел газету по пути завещанного Ломоносовым «среднего штиля». Избегая тупого официоза и вульгарной фамильярности, все тут писали на человеческом языке приятельского общения.

За это нас и любили. Конечно, не стоит заблуждаться насчет природы этой приязни. Лучшим в газете была сама атмосфера, но она быстрее всего выветривается и ее труднее всего передать.

В центре того магнитного поля, что затягивало благодарных читателей, помещался, конечно, Довлатов. Его авторский вклад был самым весомым. Начать с того, что каждый номер открывался колонкой редактора, которая играла сложную роль камертона и эпиграфа.

Сергей писал эти мерные, как гири, тексты с той же тщательностью, что и свои рассказы.

Именно поэтому не важно, чему колонки были посвящены. Расставшись с поводом, они легко вошли в довлатовский канон. Эти легкие опусы держались на тайном, но строгом, почти стихотворном метре и требовали изрядного мастерства.

Тем не менее колонки часто бесили читателей, которых раздражала принципиальная несерьезность изложения. Теперь, в век тотального стёба, с этим спорить и поздно, и глупо, но тогда Довлатову постоянно приходилось отбиваться от претензий. Он страдал и не сдавался, хотя чего ему это стоило, можно было увидеть невооруженным глазом. Открыв однажды письмо с нелицеприятной (хамской) критикой, Сергей разорвал его на клочки и выскочил из комнаты, когда мы жизнерадостно напомнили ему про демократию и гласность.

В целом, однако, Сергей был покладистым редактором и не презирал своих читателей. Что было не так просто, особенно когда они обращались на «ты» и свысока давали советы. Сергей умел кротко сносить всякое обращение. Обижался он только на своих — часто и азартно.

Размолвки, впрочем, никогда не мешали веселому труду, который «Новый американец» превратил в высшую форму досуга. Наши открытые редакционные совещания собирали толпу зевак. Когда Сергей хотел наказать юную

дочку Катю, которая переводила для газеты телепрограмму, он запрещал ей приходить на работу. Подводя итоги каждому номеру, Сергей отмечал лучший материал и вручал его автору огромную бутылку дешевого вина, которое тут же расписывалось на 16 – по числу сотрудников – бумажных стаканов.

Довлатову нравились все технические детали газетного дела – полиграфический жаргон, типографская линейка, макетные листы. Он млел от громадного и сложного фотоувеличителя, которого у нас все боялись, горячо обсуждал проекты обложки и рисовал забавные картинки для очередного номера. Кроме этого Сергей пристрастно следил за работой нашего художника – симпатичного и отходчивого Виталия Длутого, которого он любовно и безжалостно критиковал за неумный авангардизм. В разгар эпопеи с «Солидарностью» мы решили поместить на первой полосе польский флаг. Из высших художественных соображений вместо красного и белого Виталий использовал бурые и серые цвета, объясняя, что суть в контрасте. Обложку переделали, когда Довлатов, всегда стоявший на страже здравого смысла, рассвирепел.

С ним это бывало редко, потому что злости Сергей предпочитал такое отточенное ехидст-

во, что оно восхищало даже его жертв. Этот талант он тоже вложил в газету.

Дело в том, что если довлатовские колонки вызывали наше безоговорочное восхищение, то с остальными жанрами было сложнее. Как бывший боксер, Сергей считал, что интереснее всего читателю следить за бурной полемикой. Поэтому, упиваясь дружбой в частной жизни, в публичной мы постоянно спорили. Сергей умел так издеваться, что даже огорчиться не выходило. Однажды он сравнил Вайля с Портосом, а меня с Арамисом. Мы решили не обижаться: все-таки — мушкетеры.

В газете Довлатов, конечно, умел все, кроме кроссвордов. Он владел любыми жанрами — от проблемного очерка до подписи под снимком, от фальшивых писем в редакцию до лирической зарисовки из жизни русской бакалеи, от изящного анекдота до изобретательной карикатуры. Так, под заголовком «РОЙ МЕДВЕДЕВ» он изобразил мишек, летающих вокруг кремлевской башни.

Труднее всего Довлатову давались псевдонимы. Он писал так узнаваемо, что стиль трудно было скрыть под вымышленным именем. Когда не оставалось другого выхода, Сергей подписывался «С.Д.». Ему нравились инициалы, потому что они совпадали с маркой фирмы «Christian Dior», о чем Довлатов и написал рассказик.

Как ни странно, но авторский эгоцентризм не мешал Довлатову отличиться в неожиданной роли. Сергей печатал в газете роскошные интервью. Первое было взято у только что приехавшего в Америку пожилого эмигранта. Кончалось оно примечательно: «интервью с отцом вел С. Довлатов».

Перейдя от ближних к дальним, Сергей разошелся и напечатал в газете беседы со всеми своими знакомыми, включая, надо признать, и вымышленных персонажей, вроде незадачливого дворника из Барселоны. Придумывая не только вопросы, но и ответы, Сергей в таких «интервью» оттачивал свой непревзойденный диалог, то самое искусство реплики, когда каждая из них кажется не только остроумной, но и (что гораздо труднее) естественной.

Обжив «Новый американец», Сергей чувствовал себя в газете как дома — в халате и тапочках. Когда, сочиняя книгу «Довлатов и окрестности», я внимательно изучил подшивку, мне показалось, что эта пухлая груда газетной бумаги тоже была записной книжкой Сергея.

Презирая абстракции, Довлатов скучнел, когда слышал выражения «общее направление» или тем более «долг перед читателем». Жанры его занимали уже больше. Сергея, скажем, бесило, что любой напечатанный опус у журналистов на

звался одинаково — «статья». Еще важнее ему казались слова, причем сами по себе, в независимости от содержания, темы и цели. Он радовался любой стилистической находке, но и ей предпочитал опрятность слога, где бы она ему ни встретилась — в спортивной заметке, гороскопе, читательском письме.

Однако по-настоящему Довлатова в «Новом американце» волновал наборный компьютер.

— Умнее Поповского, — с трепетом говорил Сергей.

Эта машина тогда столько стоила, что с ним никто не спорил, даже Поповский.

Уважая технику, Довлатов, как все мы, ее побаивался. Мысли свои он доверял только старой пишущей машинке, отбиваясь от всех попыток и ему навязать компьютер.

— Я стремлюсь, — говорил Довлатов, — не ускорить, а замедлить творческий процесс. Хорошо бы высекать на камне.

Сергей и в самом деле был большим любителем ручного труда. Особенно ему нравилось смотреть, как работают другие, и он никогда не пропускал случая поглядеть, как мы с Вайлем верстали газету. В камерке без окон, где стояло два монтажных стола, Сергей помещался только сидя, но и тогда об него нельзя было не споткнуться. Нам это не мешало. Под его ехидные

комментарии мы споро трудились и весело переругивались. Постепенно на хохот собирались остальные сотрудники газеты, потом — ее гости, наконец — посторонние. Мы работали, как в переполненном метро, но выгнать никого не удавалось даже тогда, когда гасили свет, чтобы напечатать фотографии в номер.

Довлатов любил публичность и зажигался от аудитории, но клубом газета стала сама собой. Народ стекался в «Новый американец», чтобы посмотреть на редкое зрелище: как люди работают в свое удовольствие. Труд у нас был привилегией, поэтому за него и не платили. Довлатов, во всяком случае, от зарплаты отказался. Хозяева газеты — тоже. На остальную дюжину приходилась одна небольшая зарплата.

Нищета, как всегда, и уж точно, как раньше, не мешала радоваться — наградой был сам труд. Что, собственно, и говорил Маркс, практиковал Ленин и обещал Брежнев. Я до сих пор не верю, что в мире есть лучший способ дружить, чем вместе работать, особенно — творить, хотя в хорошей компании даже мебель перетаскивать в охотку.

В редакции Сергей не был генератором идей, Довлатов создавал среду, в которой они не могли не родиться. С ним было пронзительно интересно делить пространство, беседу, закуску (но

не выпивку). Электрифицируя попавших под руку, Сергей всех заражал жадной бескорыстной конкуренции: каждый азартно торопился внести свое, страстно надеясь, что оно станет общим. Попав в ногу, газета создавала резонанс, от которого рушились уже ненужные мосты и поднималась планка. Всякое лыко было в строку, каждое слово оказывалось смешным, любая мысль оборачивалась делом.

Может быть, потому он считал этот короткий год лучшим в своей жизни, что разделенное счастье удачного коллективного труда рождало резонанс, возносящий его к прозе.

Как запой и оргазм, такое не может длиться вечно, даже долго. Но до последнего дня Довлатов считал год «Нового американца» лучшим в своей жизни.

ДВЕ ПОЕЗДКИ В МОСКВУ

Сев в такси, я привычно сосредоточился, готовясь к первому впечатлению. Как всегда, Москва не обманула. Сразу за Шереметьево, у въезда на шоссе, нас встретил огромный рекламный щит: «ТЕПЛЫЙ ПОЛ С ИНТЕЛЛЕКТОМ».

— Вот видишь, — сказала польщенная жена, — теперь здесь уже не говорят «Курица — не птица, баба — не человек».

Еще бы. Московские женщины хорошеют, начиная с перестройки. Они по-прежнему уступают мужчинам дорогу, но только потому, что идут к власти верными окольными путями. Даже пограничницы — в коротких юбках. И это никого не удивляет: в России женщины сдаются обстоятельствам последними. Как-то я видел починяющую рельс даму, которой оранжевая безрукавка дорожных рабочих не мешала носить трехдюймовые шпильки. Впрочем, в сегодняшней Москве редко встретишь женщин со шпалой. На работу они хо-

дят, как на свидание — с азартом и легкомысленной сумочкой. Одна такая еще и читала на ходу. Книжка называлась «Возьми от жизни все».

Между тем мы добрались до «Пекина». Я всегда в нем останавливаюсь, потому что знаю, как отсюда дойти до Кремля. Заядлый провинциал, в столице я себя чувствую уверенно только тогда, когда мне светят его путеводные звезды. К тому же я боюсь метро. Не из-за взрывов (Нью-Йорк приучает к фатализму), а потому, что меня всегда бьют турникеты. Проходя сквозь них, я прикрываюсь ладонями, как футболист перед штрафным. Наверное, мне не хватает сноровки. Москвичи стремительны и целеустремленны даже тогда, когда не знают, куда идут. Я же люблю озираться и теряюсь без пейзажа. Однажды мне довелось провести полчаса в подземном переходе на Пушкинской площади только для того, чтобы выйти, откуда вошел.

«Пекин» мне нравится еще и потому, что из него виден дом на Садовой с «нехорошей» квартирой. Москва (как, кстати, и Киев, какой уржай!) — булгаковский город. Мировая столица с inferнальным, но комическим оттенком. Кажется, что вся нечисть здесь мелкая, размером с домоуправа.

Впервые после тринадцати американских лет приехав в Москву, я оказался на приеме в одном

еще советском издательстве, собиравшемся, но не собравшемся выпустить нашу книгу. Мне понравилась, что начальник начал беседу *in media res*:

— Банкетов...

— Не будет, — с готовностью подхватил я, — и не надо.

— Зовут меня Банкетов.

— «Полиграф Полиграфович?» — невольно выскочило из того же Булгакова, но уточнять я не стал.

От Венички Ерофеева, моего другого московского кумира, в городе не осталось ничего, кроме пива. Правда, присев на скамейку в сквере у Лубянки, я встретил мужчину с более серьезным похмельем, но и тот прихорашивался, водя сухим станком по безнадежно заросшей щеке. Достав телефон, я набрал номер, чтобы сообщить друзьям о находке.

— Я сижу... — начал я.

— Где? — нервно спросили в трубке.

— На Лубянке.

— Не засиживайся!

Москва действительно начеку, но меня этим не испугаешь. С 11 сентября рядом с нашим домом, у моста через Гудзон, дежурит танк. Раньше я видел американских военных только по телевизору, обычно — на Гаити. Теперь их в Нью-Йорке, как в Багдаде, но улыбаются чаще. Привыкнув

к бдительности, я и в Москве, входя в двери, поднимал руки, помогая металлоискателю, но меня никто не заставлял снимать часы и подтяжки.

— Рентген, — безапелляционно заявила жена.

— А может, гиперboloид? — засомневался я, вспомнив детство.

Заинтересовавшись механизмом, мы обнаружили, что его не было. Митьковский ответ террору был деревянным, как бицикл Бабского. Вход в общественные учреждения охраняла крашеная рама, дублирующая косяк и сужающая проход. В Москве и раньше норовили всякую дверь открыть наполовину, теперь этому нашлось оправдание. Узость облегчает контроль, хотя и не мешает пронести бомбу. Ими занималась милиция, выискивающая в толпе длинноносых и черноволосых, каким был я, пока годы не справились со вторым, подчеркнув первое. Во всяком случае, во мне никто не видел лицо кавказской национальности, а из диссидентов я выбыл по возрасту. Утраченные навыки инакомыслия мешали мне подхватить привычные по прошлой жизни кухонные беседы. Главное в них — припев:

— Вы же сами понимаете!

Я не понимал, но многозначительно кивал направо и налево, пока на меня не перестали обращать внимания.

Так было и в ресторане Домжура, который мы делили с компанией, не подозревающей в нас свидетелей. Почему-то и те, и другие соотечественники не признают во мне своего, что позволяет слушать в два уха. Как-то мне довелось осматривать (со мной это бывает) Третьяковскую галерею как раз тогда, когда ее показывали супруге предыдущего американского президента. Увязавшись за кортежем, я, наконец, узнал, что волнует молчаливых секретных агентов.

— Следи, чтобы этой дуре не подарили ничего тикающего, — говорил русский охранник.

Американцы интересовались обедом:

— Same shit?

— As usual.

На этот раз за соседним столом разворачивалась драма идей. Трое либералов уговаривали четвертого, из Бруклина, спасти русскую свободу. По-английски беседа шла о демократии, по-русски — о грантах. «Мы еще обуем Америку», — слышалось мне.

Взглянув на цены, я вспомнил ту сцену из мемуаров Панаевой, где она описывает парижские завтраки русских демократов, традиционно завершавшиеся тостом за победу над самодержавием. Поскольку чокались шампанским, то, вздыхает Панаева, каждая свободолюбивая трапеза обходилась в одну рощу.

Печаль о народе, однако, не портит аппетита. Особенно, когда все так вкусно. Русская кухня, как Лазарь, восстала из мертвых. Еще недавно патриотизм исчерпывался клюквой — в прямом смысле. Ею посыпали все, что лежало на тарелке — от свиных котлет до неправильного счета.

Теперь вместо салата «Фестивальный» и отбивных «Космических» Москва кормит своим: рыжиками, солянкой из осетрины, филе по-суворовски. Более того, привычно загребая по окраинам, русская кухня негласно, но властно восстановила империю, включив в себя и грузинскую чихиртму, и севанскую форель, и азербайджанский бозбаш, и плов всего мягкого среднеазиатского подбрюшья. Не остановившись на достигнутом, московский ресторан, как Жириновского, тянет за три моря. В модном заведении, куда я попал не по своей воле, а по чужому приглашению, царил тропическая атмосфера. Пока я искал в витиеватом меню селедку, мой сотрапезник заказал суп из кокосового молока и тофу с креветками.

— Не дурно для средней полосы, — осторожно оценил я его выбор.

— Что значит «средняя»? Москва — город контрастов.

Новая кухня объединила с миром ту часть Москвы, которая может себе ее позволить. Остальные смотрят телевизор.

В гостинице я включал его, когда просыпался. Благообразный священник с бородой во весь экран степенно отвечал на вопросы зрителей. Их интересовало будущее.

— Пророчества святых, — величаво говорил архиерей, — от Бога. Цыганкам же предсказывать судьбу помогает дьявол.

Я вздохнул и переключил канал, чтобы узнать погоду. В Москве, где жизнь бурлит в основном под землей, она волнует не так, как в Нью-Йорке. Я понял это еще десять лет назад, когда спросил таксиста о прогнозе.

— Неопределенный, — сказал он, — но, думаю, Ельцин усидит.

По вечерам телевизор смеялся.

— Что значит «Юморама»? — спросила жена.

— Рама для Юма?

— Ты еще скажи — Гоббса.

На экране одна полная дама потешалась над другими, потолще. Меня не оставляло ощущение, что где-то я это уже видел.

— Deja vu? — спросила жена.

— Нет, на Брайтоне, — сказал я и нашел новости.

Терпеливо выслушав Путина, мы дождались вестей из дома.

— В Америке, — грудным голосом говорила дикторша, — участились полеты неопознанных летающих объектов.

— Раз ничего нового, — сказал жена, — пойдем спать. Нам завтра тоже улетать.

Американцев в зале ожидания выдавали матрешки. Моих оправдывало то, что в них плескалась сувенирная водка. Сквозь стеклянную стену внутрь заглядывала добродушная морда аэрофлотского «Боинга». Приглядевшись, я заметил, что у самолета, как у парохода, было свое, точнее — чужое, имя: «Достоевский».

— Спасибо, что не «Идиот», — сказала не доверяющая авиации жена.

— И не «Бесы», — согласился я, и мы отправились на посадку.

2

Собираясь в дальнюю дорогу, я позвонил друзьям и строго спросил:

— Осень — золотая?

— А какая же! — обиделись они, но веры им было мало.

Как-то в марте, убедившись (у них же), что грачи прилетели, я приехал в Москву без пальто, а меня встретила пурга, не прекращавшаяся все три недели.

Жизнь, однако, улучшается — вранья стало меньше: осень оказалась теплой, лето — бабьим, и листья падали в тарелку. Но я все равно пошел в музей.

Дело в том, что в школе моим любимым предметом был «рассказ по картинке». Дополняя живопись словами, мы переводим явное в тайное, а очевидное — в невероятное. Так рождается критика, приписывающая свои намерения чужому — и беззащитному — автору.

Предвидя судьбу уже в детстве, я по-крупному играл в фантики, но их оригиналы полюбил лишь в разлуке, и, возвращаясь, не пропускал случая навестить Третьяковскую галерею.

Уже дорога сюда была поучительной — с тех пор, как поумневшее метро украсило себя заемной мудростью.

«Любовь к родине начинается с семьи», — прочел я, коротая путь под землю. Изречение Фрэнсиса Бэкона иллюстрировала матрешка, некстати напомнившая мне начиненного бабушкой волка из «Красной шапочки».

В Третьяковке, однако, свои сказки. Самая страшная — «Алёнушка»: глаза дикие, сразу видно, что сейчас утопится. Зато пейзажи располагают к покою, и, я бы сказал, к рыбалке. Чувствуется, что клюет — и у Поленова, и у Левитана.

У Верещагина еще и стреляют, причем — прямо сейчас. Его картины напоминают актуальный комикс о террористах и называются в настоящем времени: «Высматривают», «Нападают врасплох», «Представляют трофеи». Возле знамени

того полотна с самаркандскими воротами гид широким жестом остановил экскурсию и объявил: «Perzia». Иностранцы согласно закивали.

Переключившись с нарисованной жизни на настоящую, я стал осматривать вместо экспонатов зрителей. Больше других мне понравился дородный мужчина, застрявший возле картины «Развал» какого-то другого, незнакомого мне Сорокина. На холсте изображалась барахолка: хомута, иконы, кираса и портрет Суворова.

— Нет, — горько сказал сам себе зритель, — ничего в этой жизни не меняется.

Но это, конечно, неправда: Москва становится все менее понятной. Во всяком случае, для меня. На бульваре, например, висела вроде бы и незатейливая афиша: «Игорь Саруханов: 20 лет под парусом любви». Но я никогда не узнаю, как выглядит этот русский Арион, потому что прохожие пририсовали ему пейзажи, крест и лозунг «Долой правительство Ющенко».

Привычно почувствовав себя чужим на празднике, я отправился «наблюдать реализм жизни». Он не заставил себя ждать. У памятника Марксу, и впрямь похожего, как писал Довлатов, на кляксу, бездомный негр собирал окурки.

— Все, как дома, — слегка запутавшись, подумал я, но был не прав, потому что в Москве другая архитектура.

Краснокирпичная византийская готика — от Кремля до пивного завода в Хамовниках — в этом городе борется с античным орденом. Склонная к плодородию советская власть предпочитала кудрявые коринфские колонны с капустой капителей и рог изобилия, плавно переходящий в герб языческого гербария. Любуясь гранитным «Тяжмашстроем», я обнаружил, что слева от классического портика стоит шалман «Шварцвальд», а справа — «Акапулько».

Такая, прямо скажем, райская география сокращает и улучшает глобус. Например, в прошлом году в моем любимом отеле «Пекин» располагался ресторан «Гонк-Конг», в этот раз его сменило казино «Нью-Йорк».

Расправившись с расстоянием, Москва взялась за время: здесь жить торопятся и чувствовать спешат.

— Особенно — за рулем, — добавлю я, вспомнив красивую блондинку, которая ехала в своем «Мерседесе» по тротуару Садового кольца. Причем — давно: кольцо большое, да и пробок не меньше. Как и все остальные, она не отрывалась от мобильного. Благодаря ему, гость в Москве знает все о хозяевах. Иногда больше чем хотелось бы, как это случилось на Пречистинке, когда идущий передо мной бизнесмен, горячо и простодушно дове-

рял телефону свои бескомпромиссно преступные планы.

«Славянская душа, — умилился я, — всегда нараспашку». И тут же убедился в этом за чашкой кофе в стоячем арбатском буфете, где рядом со мной, но, не обращая на меня внимания, завтракала девица в пронзительно короткой юбке. Биография ее была немногим длиннее, судя по тому, как быстро она ее выплеснула своему сотовому собеседнику. Исчерпав тему, девушка тревожно задала трубке встречный вопрос:

— А ты что вообще по жизни делаешь?

Задумавшись над ответом на чужой, но и мне не чуждый вопрос, я решил, что пора набраться мудрости. Спустившись в метро за очередным афоризмом, я с удивлением прочел его: «Будет богат, кто на поле своем трудов не жалеет». Катон.

— Это какой же — Старший или Утический? — спросил я спутника.

— Какая разница?

— Не скажи. Первый не советовал снимать с рабов цепей даже в праздники.

Мрачные мысли, впрочем, быстро покинули нас, потому что рядом с хозяйственным Катон висела соблазнительная реклама женского, видимо, корсиканского, белья: трусы назывались «Вендетта».

...иногда ...

НЕКРОЛОГИ

Александр ГЕНИС

...иногда ...

ПАМЯТИ ПОЧЕРКА

В московский музей классика я приехал, чтобы взглянуть на его рукописи. Купив билет, но не найдя парадного входа, я зашел в какой попало.

— Вам, собственно, кто нужен? — строго спросила конторщица.

— Толстой.

— Он всем нужен, — сурово сказала она, но все-таки отвела в зал, где под стеклом стеллажа вальяжно расположились корректурные гранки, сплошь исписанные мелким, но стройным почерком.

Когда-то я работал метранпажем в старой, еще настоящей, типографии, поэтому первым делом пожалел наборщиков. Садизм Толстого заключался в том, что он не исправлял ошибки, а заменял рукописной страницей печатную. Как будто сам вид окоченевших строчек выводил его из себя.

Чтобы оправдать писателя, надо вспомнить, с какой одержимостью он объяснял человечес-

кую жизнь. Автору, сажавшему четыре «что» в одно предложение, было мучительно трудно остановить поток уточнений, отдав в холодную печать еще теплую рукопись. Ведь она — не черновик текста, а его исподнее. Поэтому автографы великих рассказывают нам больше, чем их портреты. На письме статику образа заменяет динамика мысли. Плюс, конечно, темперамент: Бетховен рвал пером бумагу, Бах обводил красным там, где про Бога.

Тайна почерка, конечно же, в его неповторимости, столь же бесспорной, как отпечаток пальца. Но если в последнем случае об уникальности рисунка позаботилась природа, то в первом — культура. Учась писать, мы становимся разными.

Значит ли это, что безграмотные больше похожи друг на друга? И что, утратив почерк, мы вновь станем одинаковыми?

Подозреваю, что это возможно, ибо письмо, как походка, — индивидуальный навык, способный придать телесную форму бесплотной мысли. Если ее незримость напоминает о музыке, то почерк есть сольный танец пера по бумаге. Под ту же, что поразительно, мелодию.

Меня пленяет магическая мощь этой пляски и даже у компьютера я не обхожусь без бумаги. Дойдя до смутного места, оставшись без глагола,

застряв на длинной мысли, потерявшись в лабиринте абзаца, я хватаюсь за карандаш, чтобы поженить руку с головой. Ритм этой всегда поспешной (чтобы не задуматься) процедуры выводит из затруднения и вводит в транс, надежней мухомора, избавляющего от контроля чистого разума. Писатель что вертящийся дервиш.

Но почерк свой я при этом ненавижу, еще с тех пор, как меня мучили пыточными орудиями письма: чернильница с лживым прозвищем непроливайка, вечно щипавшее тетрадь перо-уточка и зеркальная простыня промокашки, отражавшая мои незрелые промахи. Гордо считая содержание важнее формы, я писал, как хотел, оставляя каллиграфию зубрилам и эпилептикам, вроде Башмачкина и Мышкина.

Положение изменилось лишь тогда, когда я понял, что почерку приходит конец. Его смерть ускорила американская демократия, позволяющая ученикам держать перо не только в левой, но и в скрюченной, будто подагрой, ладони. Устав мучаться, школа отдала письмо компьютеру, у которого все получается ясно и просто. Как у пулемета. Отучив считать в уме и писать рукой, компьютер напрашивается в рабы, но становится хозяином. Не в силах его покинуть, мы теряем мобильность и самодостаточность. Инвалиды письма, мы забываем о его потаенном смыс-

ле: сделать видимым союз души и тела. Почерк умеет не только говорить, но и проговариваться. Он знает о нас, может быть, меньше, чем обещают шарлатаны-графологи, но все-таки больше, чем мы смели надеяться.

Первым поняв это, Дальний Восток сделал каллиграфию матерью искусств и школой цивилизации. Открыв книгопечатание задолго до европейцев, здесь не торопились пускать его в дело. Японцы считали изящной только ту словесность, что нашла себе приют в летящих знаках, начерченных беглой кистью на присыпанной золотой пылью бумаге.

Позавидовав, я пошел учиться к нью-йоркскому сэнсэю, веря, что, не справившись с кириллицей, я смогу отыгаться на иероглифах. На первый год мне хватило двух: «Са» и «Ша». Прочитанные вслух, они составляли мое имя. Переведенные на русский, означали «сбалансированного человека», каким я мечтал стать, научившись каллиграфии. Но до этого было далеко. Овладев 24 видами штрихов, нужных для того, чтобы написать все 40 тысяч знаков, я сосредоточился на размещении их в пространстве. Хорошо написанный иероглиф должен быть плотным, как умело упакованный чемодан, элегантным, как скрипичный ключ, и крепким, как вещь, которую можно повесить на стенку. Мно-

гие так и делают. Энергия, запертая в нем, как в атоме, настолько ощутима, что я не удивился, когда в Америке иероглифы стали модной татуировкой.

Но главное — все-таки в другом. Почерк учит невозможному: выражать внешним внутреннее.

В одном несчастном фрагменте Оден, говоря о почерке, вспоминает экскременты. Если, отбросив безразличность, развить эту параллель, мы и впрямь найдем общее — естественность, безвольность и убедительность. Как помет, почерк оставляет безусловные следы, утверждающие наше присутствие в мире. Продукт физиологии мысли, он, как сны, и зависит, и не зависит от нас. Поэтому лишиться почерка — все равно, что остаться без подсознания.

Боюсь, что я с первого взгляда могу узнать страницу, не написанную от руки.

ПАМЯТИ СЛАВЫ

Обладая смутным в отличие от нашего, отсутствующим, представлением о загробном мире, язычники приписывали славе ту же роль, что христиане — Христу. Она воскрешала из мертвых: покойники живы, пока о них помнят.

Во всяком случае, это объясняет жажду славы у древних, о чем и говорит Цицерон в своей утопии «Сон Сципиона». Вот любопытный абзац из этого редкого образца древнеримской научной фантастики: «Люди, населяющие Землю, находятся одни в косом, другие в поперечном положении по отношению к вам, а третьи даже с противоположной стороны. Ожидать от них славы вы, конечно, не можете».

Исправляя этот недочет географии, мы придумали спутники и Интернет, сделав — впервые в истории — славу кругосветной и круглосуточной. Добившись такого, мы ее похоронили, предварительно раскулачив и поделив, чтобы

каждому достались 15 минут, обещанные Энди Уорхолом. Как показывает вскрытие, причиной смерти стала терминологическая недостаточность.

У греков для славы было слов не меньше, чем у эскимосов для снега. В Элладе первыми, как и у нас, шли спортсмены, потом — герои, позднее — философы. Римляне предпочитали государственных мужей, Ренессанс — художников, романтики — поэтов.

Важно, однако, что раньше, как заметил Милан Кундера, слава подразумевала восхищение не только тех, кто знает тебя, но и тех, кого знаешь ты. Лишь та слава считалась подлинной, что соединяла достойных с равными. Обоюдострая, как дуэль, она предусматривала диалог тех, кто одинаково хорошо владеет избранным оружием.

Шкловский называл это «гамбургским счетом». Затворив двери, потные борцы в линиялых трико выясняют, кто из них — лучший. Изгнав не только публику, но и судей, вердикт выносят свои. В этом самый тонкий из соблазнов славы. Только те, кто хотел бы повторить и присвоить, способен оценить чистоту приемов, широту их репертуара, его оригинальность и своевременность. Чужую музыку можно слушать, но лучше ее сыграть.

Справедливости ради надо заметить, что гамбургский счет вовсе не отменял обыкновенного. Но, принимая незаслуженные почести и заслуженные взятки, борцы участвовали в чужой игре, всегда помня о своей.

В узком кругу слава жжет сильнее, стоит больше, добывается труднее и теряется столь же быстро. Жалко только, что не везде она так наглядна, как на гамбургском ковре. Обычно слава копится годами в таинственной ноосфере, где, говорят, концентрируются испарения человеческого гения.

Не менее загадочен и механизм ее распределения. Славу нельзя ни дать, ни взять, только получить — по совокупности заслуг от никем не назначенных авгуров, чей приговор ты уважаешь не меньше их.

Мне рассказывали, как оценивали шутки знатные московские остряки. На их консилиуме смеялись реже, чем в морге. Поднятая бровь здесь считалась знаком одобрения, узнав о котором, автор уходил уязвленный формой и осчастливленный содержанием комплимента. Иногда это бесит, часто обижает и всегда раздражает. Что и понятно: мы добываем славу своим трудом, а получаем из чужих рук. Зато такая слава придает вес своему избраннику. Я бы сказал — удельный вес: увеличивая

плотность достигнутого, он углубляет след и тянет ко дну.

Антитеза славы — не безвестность (она-то как раз может оказаться мудростью), а популярность, выдающая тщеславие за честолюбие. Поэтому не все известные люди — славные. Мне, например, вспоминается Лимонов, который считает старомодной пошлостью говорить не о себе.

Если XX век разбавил славу, то XXI пустил на панель — с помощью компьютерного сутенера. Умея считать лучше, чем читать, Интернет заменяет качество количеством, а славу — известностью. Став мерилom успеха, последняя замещает первую, не замечая разницы. Слава, как Суворов, брала умением, популярность, как саранча, числом.

Рожденный революцией Интернет обещал демократию, но привел к тирании, причем — масс. Ублажая их, он создал конвейер тщеславия. Доступный и нечистый, как автомат с газировкой, Интернет позволяет каждому выплеснуть себя на мировой экран.

Характерно, что в Сети часто практикуется та же извращенная форма авторского самолюбия, что и в привокзальных сортирах — анонимный эксгибиционизм, парадоксально соединенный с острой жаждой признания: на стенах об-

щественных уборных всегда пишут в надежде на читателя.

Желание прослыть любой ценой сводит с ума, ибо за ним стоит патологический страх потеряться в толпе себе подобных. Этот маниакальный, но ведь и оправданный ужас (заблудиться в метро проще, чем в лесу) порождает страсть к неутолимой публичности. Сильнее секса и ярче голода она требует, чтобы другие узнали о существовании твоего мнения, опуса, лица или на худой конец гениталий.

В поисках славы мы добивались любви тех, кого нам хотелось, в поисках популярности — всех, кто движется.

Чем-то мне это напоминает висящую на Бродвее рекламу джинсов. Они туго обтягивают не известно кому принадлежащий зад-unisex, позволяющий усидеть сразу на двух стульях.

ПАМЯТИ АРКТИКИ

Всем временам года я предпочитаю холодное, всякому направлению — северное, любым осадкам — снег, ибо он проявляет жизнь, обнаруживая ее следы.

Однажды я увязался в горы вместе с профессиональным следопытом. За деньги он работал в ФБР, для души — ходил за зверьями. Пока мы карабкались на снегоступах к вершине, он лаконично исправлял мои ошибки.

— Кот?

— Енот.

— Лошадь?

— Олень.

— Собака?

— Койот. Разве не видно? Дикий зверь идет целеустремленно, не разбрасываясь. И прыгает, как балерина, точно зная, куда приземлиться.

К вечеру, когда снег познакомил нас со всеми горными жителями, кроме троллей, я окончательно окоченел, но на это мне никогда не при-

ходило в голову жаловаться. Холод, по-моему, сам себя всегда оправдывает — этически, эстетически, метафизически. Он пробирает до слез, как музыка, и действует, как лунный свет: меняет реальность, ни до чего не дотрагиваясь.

«Зима, — говорил Бродский, — честное время года».

Летом, надо понимать, жизнь и дурак полюбит. Но я фотографии и природу предпочитаю черно-белыми — по одним и тем же причинам. Аскетическая палитра обнажает структуру, убирая архитектурные излишества. Поэтому когда древние китайцы писали пейзажи черной тушью, сложив в нее радугу, то у них получался не только портрет мироздания, но и схема его внутреннего устройства.

Если зима воспитывает чувство прекрасного, то холод обостряет переживание всего остального, начиная со времени. Чем сильнее мороз, тем дольше тянется минута. Достигнув летального предела, искусство становится искусством выживания. Быт высоких широт придает каждой детали скудного обихода забытую нами красоту необходимого: кожаные солнечные очки, одетый на себя водонепроницаемый каяк, мороженое из китового сала, средство от цинги, которым служит мясо живого тюленя.

Живя в окрестностях небытия и ощущая трепет от его близости, северные народы обычно молчаливы, часто сосредоточены и всегда склонны к пьянству. Сегодня за Полярным кругом обитают четыре миллиона человек, но, пожалуй, селиться там стоило лишь эскимосам. За пять тысяч лет они сумели полностью вписаться в среду, мы же ее переписываем, постепенно превращая в Пятницу.

Приспосабливая мир к себе, прогресс делает его сразу и больше, и меньше — как это случилось с Севером. За последние полвека полярная шапка сократилась вдвое: ушанка стала тубеткой.

Собственно, это как раз тот катаклизм, о котором мечтали юные мичуринцы всех стран и народов. Растопленная Арктика, наконец, открывает регулярное полярное судоходство, позволяющее, обойтись и без Суэцкого канала, и без Панамского, что на пять тысяч морских миль сократит кругосветное путешествие. К тому же парниковый эффект сделает доступными сокровища потеплевшего Севера, где залегают четвертая часть всех запасов газа и нефти. Охваченные утилитарным зудом, мы рады принести ему в жертву другие арктические резервы — запасы пустоты, спрятанной под вечными льдами.

Чистый излишек пространства, как высокие потолки или тонкая рифма, — необязательная роскошь, придающая жилью достоинство, а стихам оправдание. Мысля, мы используем свой мозг лишь на несколько процентов. Остальное, видимо, уходит просто на то, чтобы быть человеком.

Раньше мы лучше умели пользоваться Севером. Он был не дорогой, не рудником, не скважиной, а храмом, лишенным деловитого предназначения. Впрочем, всякий храм бесполезен, именно потому, что он — храм бесполезному — будь то Бог, любовь или горы.

Понимая это, сто лет назад люди рвались к полюсу лишь потому, что он был. Географическая абстракция, напрочь занесенная снегом.

Стыдясь мальчишества, я до сих пор с трудом удерживаю слезы восторга, читая о приключениях полярников. В лучших из них воплотились черты того прекраснодушного идеализма, которые традиция с куда меньшими основаниями приписывает рыцарям, революционерам и паломникам — фантазия, самоотверженность, благочестие. Тогда, на рубеже еще тех веков, прекрасная и недостижимая Арктика была религией атеистов, и полюс слыл их Граалем.

С трудом пережив тоталитарный героизм предыдущего столетия, XXI век утратил вкус к

романтическим подвигам. Пресытившись ими, он заменил единоборство с природой экстремальными видами спорта: в Нью-Йорке популярны кафе с бетонным утесом для скалолазания, а лед есть и в холодильнике.

Недавно мне рассказали «зеленый» анекдот.

Одна планета говорит другой:

— Что-то ты плохо выглядишь.

— Видишь ли, меня угораздило подхватить homo sapiens.

— Пустяки, скоро пройдет.

Может, так оно и лучше.

«В своей борьбе с миром, — говорил Кафка, — ты должен стать на сторону мира».

ПАМЯТИ ЭРУДИЦИИ

Мой собеседник в московском эфире был хорошим человеком, честным политиком и тонким поэтом. У него был лишь один недостаток: я ему очень не нравился. Его раздражало, что я хочу все знать.

— Вам не надоело, — лениво скрывая неприязнь, спрашивал он, — интересоваться, чем попало?

— Не-а, — легкомысленно отвечал я. — Вы, например, хотели бы знать, как растет горчица?

— Зачем?

— Хотя бы затем, что это знали другие. Христос ведь говорил про веру величиной с горчичное семечко. И Будда просил безутешную вдову принести ему из каждого дома, где никто не умирал, по одному горчичному зерну. Дело в том, что оно — самое маленькое во всем сельском хозяйстве.

Несмотря на приложенные старания, мне не удалось его убедить. Да и себя не очень. Чем старше я становлюсь, тем быстрее впадаю в дет-

ство. Помните мальчика из «Трое в лодке...», который плакал, когда у него отнимали немецкую грамматику?

Примирившись со своей долей, жена зовет меня Google, друзья – бесцеремонно пользуются. Зная за собой эту странность, я уже не горжусь своими ненужными знаниями, а стесняюсь их. С нужными как раз сложнее. Из всех полезных сведений за последнюю четверть века я овладел только теми, которые содержались в недлинной брошюре «Правила вождения автомобиля в штате Нью-Джерси».

Теперь это, впрочем, не важно. Компьютер упразднил границу, отделявшую угрюмую науку нужды от роскоши прихотливой эрудиции. Интернету все равно: он знает все – что упрощает интеллектуальные труды и лишает их радости.

Послушный водопровод информации, Интернет удешевил знания, разбавив стерилизующей хлоркой голубую кровь эрудиции. Скрипя душой, я признаю и благотворные последствия этого демократического переворота, но мне обидно, что драгоценный багаж, накопленный годами чтения, выдают любому идиоту, сумевшему освоить алфавит.

Еще хуже, что, попав в бинарную пилораму знаний, эрудиция теряет свою благородную природу.

Компьютер умеет размножаться только делением. Рассеянный каталог всех сведений, он — Паганель нашего века. Эта комическая фигура копит знания, не умея ими пользоваться. Детям капитана Гранта Паганель удобен лишь потому, что он всегда под рукой, но доверять ему опасно, как составленной им же карте, куда он забыл внести Австралию.

Иногда компьютер мне кажется старомодным, как Жюль Верн. Оба они верят в конечный, перечисленный мир, который можно разобрать и выучить. Такая религия — ересь для эрудита. Его символ веры — неклассифицированная груда разнородных сведений. Другими словами — свалка.

В детстве я на такую лазал. Спрятанная от чужого глаза гора бесполезных сокровищ, она жила своей неожиданно органичной жизнью и дымилась, как Везувий. Выброшенные нами, а значит, предоставленные себе вещи освобождались от прежних функций и вступали в немислимый, как на картинах Дали, брак, чтобы произвести на свет новое и неопишваемое.

Обратного пути, однако, нет. Я не могу прожить без Интернета дня, но это не значит, что он мне нравится: рабов не любят, ими пользуются. При этом описанная Гегелем и опробованная Лениным диалектика превращает раба в хо-

зьяина. Сегодня обойтись без Сети так же трудно, как без канализации.

И не надо! Инфляция учености заставляет нас пересмотреть все, что ее составляет. Сдавшись спрессованному Интернетом «разуму масс», я не собираюсь, как Каспаров, соперничать с машиной. Разделим сферы и наметим рубежи. Отдав чужое, оставим свое себе. Пусть компьютер владеет униженными доступностью фактами. Эрудиция не должна кормиться крошками с чужого стола. Ее достойны только те знания, что вступают в реакцию с душой, вызывают в ней резонанс и оставляют на лбу морщины.

Никто не знает, откуда берутся такие знания. Поэтому, отправляясь в свободный поиск, я отпускаю вожжи, отказываясь сформулировать вопрос на убогом языке, понятном даже компьютеру. Вместо этого я устилаю пол открытыми книгами. Улов тем богаче, чем шире бумажный водоворот, листающий страницы монографий и антологий. Мы находим в них то, чего не искали — попутное, забытое, противоположное. Эрудиция чревата гибридными — неузнаваемыми — плодами: когда одно рождает другое, часто — случайно.

Такие сюрпризы мне дороже всего, ибо лучшему в себе я обязан неразборчивости в пристрастиях. Особенно — к цитатам. Они — квант

эрудиции. Эмерсон их ненавидел, Эйзенштейн считал необходимыми, как кирпичи, Мандельштам называл «цикадами».

Я, как всегда, с поэтами. Цикада роняет в землю личинку, которая лежит, как мертвая, семнадцать лет, чтобы в положенный ей срок ожить и застрекотать. Вот так и эрудиция: она спит в нас, пока ее не призовет к делу ассоциация.

Тот же Мандельштам считал образование искусством быстрых ассоциаций. Этакое глоссанто знаний: трррррррррррррр — бум: «Я список кораблей прочел до середины».

ПАМЯТИ НОЧИ

О том, что отключилось электричество, я узнал только тогда, когда испуганно пикнул компьютер с разрядившейся батареей. Осмотревшись, я понял, что кондиционер не работает, радио молчит, солнце садится. На Нью-Йорк опускался знаменитый блэк-аут 2003 года. Живописный закат на моей стороне Гудзона не предвещал стоявшему на другом берегу Манхэттену ничего особенного. Только когда жаркие сумерки стали сгущаться в безлунную тьму, выяснился масштаб драмы. Наползая на город, темнота съедала его, как история. Теряя небоскребы, остров пятился в прошлое — в небытие.

Постепенно Нью-Йорк исчез, оставив вместо себя непрозрачные глыбы тьмы, о назначении которых местным было трудно вспомнить, а приезжим догадаться. Когда, подавленный происходящим и смущенный навязанным бездельем, я вышел из дома, оказалось, что улицу заполнил онемевший народ. О присутствии тол-

пы можно было узнать, лишь уткнувшись в спину соседа. В темноте обычно говорят шепотом, эта ночь навязала молчание.

Я впервые ощутил ее безмерную власть потому, что она явила себя там, где о ней уже забыли. На рыбалке, скажем, ночь тоже черна. Но ведь у нее в гостях другого и не ждешь. Темнота на природе — аттракцион, умышленное вроде палатки неудобство. Тут, однако, не мы выбрали ночь, а она нас.

Дождавшись своего часа, ночь поставила всех на место. Короткое замыкание просто отменило цивилизацию. Без нее же, как быстро выяснилось, нам нечего делать, разве что — лечь спать.

Зачем человек спит, ученые не знают, а я догадываюсь: чтобы не оставаться наедине с ночью. Ее величие исключает панибратство. Греки искали в Ночи источник мира, веря, что она первой родилась из Хаоса. Поэтому Гесиод называл ее не только сестрой, но и матерью Дня. (В нормальной, нечеловеческой жизни свет ведь и правда меньше тьмы, да и встречается реже, что легко доказать, разделив площадь неба на число звезд.)

Чтоб не видеть ночи, мы спим с ней, зачиная сны. Начиняя ими наши души, ночь оправдывает себя — если ей, конечно, не мешают.

Как всем сакральным, ночью нельзя пользоваться всуе. Ее тихие часы предназначены для высокого — стихов, молитв и тоталитарной власти. Поэтому жгли свечи поэты, вставляли к заутрене монахи, и никогда не гасло окно в кабинетах Ленина, Сталина и Муссолини. Другим, чтобы понять ночь, надо переболеть бессонницей.

Мучаясь ею, я часто бодрствую в сокровенные часы — с трех до шести. По китайскому счету это — время инь, когда сон ткет ткань яви, ночь образует завязь дня и — добавляет статистика — чаще всего умирают люди. Не зря предутренние часы называют «глухой ночью». В эту пору мир нас не слышит, а мы его и подавно. Но когда нас ничто не отвлекает от себя, нам труднее отвлечься на постороннее. Что и делает ночь опасной:

«When I am alone, — поют ковбои. — I am in a bad company».

Страшась всего непонятного, прогресс нашел свой компромисс с ночью: он ее отменил там, где смог.

— Филадельфию, — скажет патриот нашего города, — закрывают в девять вечера, зато Нью-Йорк вообще не спит.

Об этом знают все, кто подлетал в темноте к Нью-Йорку, ибо в офисных башнях никогда не гасят свет. Расходы на лишнее электричество

оплачивает муниципалитет, рассчитывающий, что веселая слава города заставит раскошелиться его гостей.

Согласно распространенному, но неправдоподобному суеверию, разврат разворачивается ночью. Надеясь на это, позолоченная молодежь двух континентов сделала своей зимней столицей приполярный Рейкьявик, где можно танцевать до утра, наступающего только летом.

Куда успешнее, однако, с ночью борются не праздники, а будни, открывшие коммерческие преимущества круглосуточного существования. Не исчерпав пространством колонизаторского зуда, мы распространили экспансию на время, заставив ночь на нас трудиться.

Я еще помню, как это началось, когда напротив моего дома открылся супермаркет с пуэрториканским акцентом — «Масана». Помимо названия, его неоновая вывеска обещала, что магазин будет работать, как собиралась вся Америка: «24/7», то есть — всегда. На двери, однако, висел старомодный амбарный замок.

Сегодня такого не увидишь. Каждый пятый трудящийся американец работает в ночную смену. Все остальные этим пользуются — в этой стране никогда ничего не закрывается: магазины, прачечные, университетские библиотеки, кафе-мороженое.

Теперь уже трудно поверить, что так было не всегда и не всюду. Четверть века назад, впервые приехав в Лондон, я с удивлением выяснил, что английский телевизор в отличие от американского знает, когда ему ложиться спать. Последняя программа шла до полпервого и называлась «Звезды смотрят вниз».

— Про гороскопы, — сказала жена.

— Битлы, — возразил я.

Спор разрешил астроном с указкой, объясняющий зрителям, что они смогут увидеть, если поднимут голову к ночному небу.

ПАМЯТИ КОСМОСА

Непонятно даже, чего мы так всполошились. А ведь в моем детстве космос был популярнее футбола — даже среди взрослых. Уже много лет спустя я сам видел улыбку на лицах суровых диссидентов, когда они вспоминали полет Гагарина.

С него, писали отрывные календари, началась новая эра. Но она быстро завершилась, когда выяснилось, что человеку там нечего делать. Мы не приспособлены для открытого пространства — нам нужно есть, пить и возвращаться обратно. Беспилотные устройства стоят дешевле, пользы приносят больше, не требуют человеческих жертв и не приносят славы. Мы же стремились в космос, чтобы запахать эту целину под символы. Чем только ни был для нас космос: новым фронтом в «холодной войне», зоной подвигов, нивой рекордов, полигоном державной мощи, дорогостоящим аттракционом, рекламной кампанией, нако-

нец — шикарным отпуском. Чего мы не нашли в космосе, так это смысла.

Говорят, Армстронг больше всего боялся забыть исторические слова, которые он произнес, впервые ступив на чужую почву. И то: оставленный им след исчезнет позже Земли и вместе с Солнцем. Этим, однако, все и кончилось.

— Мы открыли Луну, — объясняют историки, — как викинги — Америку; преждевременно.

Поэтому ни мы, ни они не знали, что делать со своим достижением. Эта параллель даже точнее, чем кажется на первый взгляд. Космос был Новым Светом, где разыгрывался карамболь уязвленной совести и подспудных страхов. В нашем больном воображении любые контакты с неземным разумом следовали земному сценарию: либо мы, либо они были индейцами. Хорошо зная, чем это кончится, мы все равно рвались в космос. Зачем?

В романе трезвого Лема вернувшийся со звезд герой говорит, что полет того бы не стоил, даже если б «мы привезли обратно восьминогого слона, изъясняющегося чистой алгеброй».

Об этом редко говорят вслух, но ведь можно догадаться, чего мы подспудно ждали. Космос послужил новым импульсом теологической фантазии. Когда философия исчерпала двадцатипя-

тивекковые попытки найти душе партнера, за дело взялись ученые. Не в силах вынести молчания неба, мы мечтали вынудить его к диалогу. Не понятно, на что мы рассчитывали, что хотели сказать и что услышать, но ясно, что мы отправились в космос, надеясь выйти из себя. Беда в том, что мы не нашли там ничего такого, ради чего бы это стоило делать. Кое-кто из астронавтов, правда, открыл Бога, но на Земле, а не в небе.

Для меня космический век закончился фотографией Марса. Первая «звезда» на вечернем небе, он нам никогда не давал покоя. Живя на третьей планете, мы невольно приписали второй — свою молодость, а четвертой — свою старость. Эта фантастическая хронология побуждала ученых искать на Марсе вымиравших братьев по разуму. Так, астроном Скиапарелли составил подробную карту планеты с несуществующими каналами. Маркони утверждал, что ему удалось поймать закодированный радиосигнал марсиан. Поверив ему, американское правительство объявило трехдневное радиомолчание, но Марс его так и не прервал. Куда успешнее действовали писатели. Алексей Толстой даже устроил на Марсе пролетарскую революцию. В его «Аэлите» меня больше всего занимало меню бедных марсиан: дурно пахну-

щее желе и опьяняющая жидкость с ароматом цветов. В таком обеде легко узнать студень с одеколоном, или, вспомнив «Петушки» Венички Ерофеева, — вымя с хересом...

Но, увидев драгоценный снимок, я понял, что мы никогда не найдем на Марсе ни соратников, ни собутыльников, ни собеседников. Глядя на безжизненный, лишенный тайны и величия, попросту — скучный, хоть и инопланетный ландшафт, я впервые с тоской подумал:

— Может, мы и правда — венец творения?

И это значит, что нам не с кем разделить бремя ответственности за разум, что помощи ждать неоткуда, что Земля — наш Родос, и нам не остается ничего другого, как прыгать — здесь, сейчас, всегда.

И еще я подумал, как повезло нам с планетой: могла быть хуже.

Примирившись с одиночеством, не только я — даже НАСА прекратила поиски внеземной цивилизации. А без нее нам космос не нужен.

Что еще не подразумевает конца космонавтики. Напротив, созрев, она только сейчас и входит в силу, принося нам каждый день новые сенсационные открытия, о которых газеты сообщают мелким шрифтом между спортом и погодой. Теперь, даже тогда, когда мы открываем новые планеты, им дают имена второстепен-

ных богинь. Одно дело — покоряющая всех Венера, другое — Седна, известная только эскимосам и феминисткам.

Лично я оплакиваю романтику космической эпопеи еще и потому, что ее гибель трагически отразилась на моем любимом литературном жанре — НФ. Когда из фантастики вычли науку, мы остались со сказкой — для детей любого возраста.

Характерно, что, уходя из Вашингтонского Музея астронавтики, каждый посетитель уносит самый популярный сувенир космической эры: серебряный пакетик с мороженым для невесомости.

ПАМЯТИ СКУКИ

Вся тварь разумная скучает.

Пушкин

Их нельзя не заметить, трудно избежать, невозможно забыть. Не замечая друг друга, с невидящими глазами, жутко подвывая неслышному голосу, они бредут по площадям и улицам планеты, одиноко приплясывая в такт тайному ритму, который им диктует обвившийся вокруг шеи серебристый божок с хвастливым именем ай-Под.

«Когда фирма «Sony», — рассказывает в своих мемуарах ее основатель, — выпустила первые плееры, к ним прилагались две пары наушников».

«Музыка на двоих» считалась романтическим изобретением, вроде танго и алькова. Революция началась с того, что одна пара наушников оказалась лишней. Поющая машинка явила себя безотказным протезом любви и

дружбы, попутно разрешив проблему одиночества. Экспансия портативности завершила победу технологии.

Теперь досуг никогда не бросает нас: телефон стал мобильным, компьютер — ручным, кино — переносным, музыка — вездесущей, совсем как воздух. Видать, мы страшно не доверяем своей душе, если боимся остаться с ней наедине.

Давно одолев скуку дома, прогресс добил ее на пленэре. В самом деле, где нам теперь скучать? В небе? На земле? В метро? Разве что — под водой. Но вот уже и в нашей душе поселился водонепроницаемый приемник, который делится новостями, пока я намыливаюсь.

Что же тут плохого? И что хорошего в скуке?

Увлечшись реальным телевидением, британские продюсеры на три месяца переселили лондонскую семью в викторианский дом, устроенный по последнему слову науки и техники 1900 года. Больше, чем дровяная кухня и ручная стирка, несчастных добровольцев угнетала беспросветная скука. Всего век назад мы еще жили в активном залоге, сами добывая себе развлечения — как дичь на охоте. Не сумев удовлетвориться самодельным досугом (беседой, декламацией и музицированием), наши современники сбежали в настоящее — они не вынесли встречи со скучным прошлым.

Я понимаю их, когда вспоминаю свое раннее детство, пришедшее на викторианский период советской власти. Скучнее всего мне было до того, как я пошел в школу, потом уже было страшно.

Вроде бы одно должно исключать другое.

— Когда голодный, — сказал мне нью-йоркский бездомный, — уже не скучно.

Но в юности я больше всего боялся скуки. Особенно когда пристраивался к хвосту, чтобы сдать пустые бутылки. О, это пугливое ожидание праздника, который в любой момент грозила сорвать табличка «Тары нет».

— И не надо! — крикнут сегодня.

— Но не вчера! — ответит седой ветеран очередей.

Ладно. Забыли, простили, проехали. Замяли, как тогда говорили, для ясности. Другое дело, что теперь я уже и сам не пойму, чего я их, очередей, так боялся? Уставившись вместо стены в спину последнего, мы получали бесплатный урок медитации. Позволяя двигаться стоя, очередь мягко, как Будда, убеждала нас в том, что всего по-настоящему важного можно достичь либо везде, либо нигде.

Еще не поняв этого, кроме авоськи я всюду носил с собой тогдашний iPod — книжку, желательно влезающую в карман. Однако читать вез-

де — все равно, как есть что попало: пустые калории, ни уму, ни телу.

Уважать скуку я научился лишь тогда, когда убедился, что труд, как и досуг, бывает неврозом. Скука, третья ипостась духа, — профилактика психического здоровья. Скучающий человек больше видит, слышит и понимает. Скука стимулирует память, оживляет чувства, напрягает нервы. На художника она действует освежающе, вроде электрошока.

Но чтобы вкусить от скуки, надо уйти от соблазна, лучше всего — ногами. Забыв телефон и очистившись от прочей электронной скверны, я люблю бродить по лесу — пока не наскучит. Вот тогда и начинается самое интересное. Для автора скука — предтворческое состояние, не менее тревожное, чем предынфарктное.

Как всякая пустота, скука — провокация мирозданию, которое торопится заполнить пробитую ею брешь. От нечего делать мы погружаемся в лимб сознания, где самозарождаются, как мыши от сырости, мысли и образы. Просясь наружу, они теребят и колются, но ты сдерживаешься, насколько хватает лени. Писать надо лишь тогда, когда неможешь от скуки. В этом ее благодать: она приносит себя в жертву вдохновению.

...Шопенгауэр говорил, что животные не знают скуки, Бродский считал ее неизбежной, Ницше видел в ней источник философии, я полагаю, что нам поздно беспокоиться.

А жаль, ибо скука аристократична, ее надо заслужить у природы, как речь или прямохождение. Разучившись пользоваться этим преимуществом, мы возвращаемся на предыдущую — пролетарскую — ступень эволюции. Взамен скуки она дарит нам иллюзию полной занятости.

— Мы вынуждены, — сказал циник, — убить свободное время, чтобы оно не убило нас.

ПАМЯТИ ТЕЛЕГРАММЫ

28 января 2006 года «Вестерн Юнион»
отправил последнюю телеграмму в Америке.

Из газет

Первым найдя практическое применение электричеству, телеграф стал родным отцом деловитому XIX столетию. Он регулировал его железнодорожное расписание, биржевые ставки и передвижение войск. Американцы даже Аляску купили у России, чтобы через Берингов пролив установить телеграфное сообщение с Азией.

Еще важнее, что только телеграф открыл истинную цену слов и, считая, как Чехов, краткость сестрой таланта, научился зарабатывать на речи, которая до него ничего не стоила. Для экономии он придумал универсальный, как нотная грамота, язык — эсперанто нашей цивилизации. Не чуждый суховатой киплингской поэзии, телеграфный ямб тире и точек помог вос-

петь (а не только создать) тяжелую индустрию и мировые империи.

Победы прадедов, как водится, обернулись проклятием правнуков, но чаще телеграфу ставят в упрек не его грех, а наш рок.

Телеграммы умрут неоплаканными потому, что мы всегда их боялись — уж слишком часто они сообщали о смерти. После «похоронок» Первой мировой «Вестерн Юнион», пытаясь исправить смертоносную репутацию, придумал «поющие телеграммы», но никакое сопрано не смогло заглушить барабаны судьбы.

Собственно, нью-йоркский учитель рисования Сэмюэл Морзе потому и занялся изобретением мгновенной связи, что известие о кончине его 25-летней жены две недели шло к еще ничего не подозревающему вдовцу.

С тех пор полтора века телеграмма верно до навязчивости служила нам вестником, или, что то же самое, но по-гречески — ангелом. Не зря их изображают с крыльями (у Джотто, правда, встречаются ангелы и на реактивном ходу, как «Катюша»). Беда в том, что даже тогда, когда ангелы (и телеграммы) приносят благую весть, они вносят в жизнь драматический переполох — вспомним историю Девы Марии.

Куда хуже, когда телеграмма служит ангелом смерти. В этой роли она не только бессвр-

дечна, но и бессмысленна. Это как раз тот случай, когда и исправить нечего, и торопиться некуда. Помочь нельзя не только мертвым, но и живым. Доверяя телеграфу беду, мы напрасно торопимся разделить скорбь, ибо арифметика чувств устроена таким образом, что от деления умножается только радость.

И все же телеграф упрямо предпочитает плохие новости хорошим. Поэтому, послав за всю жизнь лишь одну телеграмму, я рад тем, что ее причиной оказалась свадьба, а не похороны. Хотя это еще как сказать. Дело в том, что замуж выходила девица, променявшая мою первую любовь на свою историческую родину. Учитывая национальные обстоятельства и студенческую бедность, я ограничился одним словом, по цене и значению равному бутылке «Советского шампанского»: «МАЗАЛТОВ». На рижском почтамте телеграмму приняли за зашифрованную версию «Протокола сионских мудрецов» и без возражений отправили по назначению, ибо от Израиля ничего другого не ждали.

Впрочем, любой телеграмме свойственна загадочность. Надеюсь, что пунктуация поможет избежать ее (КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ МИЛОВАТЬ), телеграф завел обычай изображать знаки буквами. Точка, например, на всех язы-

как передается словом «STOP». Но это только усиливает природную многозначительность, свойственную телеграфу. Ее не знающая строчных букв и лишних слов клинопись напоминает рубленый стиль триумфальных арок и могильных плит.

Однако та же лапидарность, что создает державную серьезность, порождает и юмор: короткое — уже смешно. Строгая речь, как карандаш со сломанным грифелем, лаконизм сумел и историю свести к анекдоту. Характерно, что от спартанцев остались одни остроты, похожие на телеграммы: «НА ЩИТЕ ИЛИ СО ЩИТОМ».

Мне не жалко телеграмму, ибо ее дело перешло достойному преемнику. Хотя электронная почта богаче и дешевле телеграфа, ей идет его сдержанность, подбивающая и электронное письмо ограничить необходимой информацией и нелишней шуткой. Этот урок стиля, пожалуй, — главное наследство телеграмм.

Лучшую из них обнаружили в архиве Беккета. В день рождения писатель получил поздравление от некоего Жоржа Годо: «ПРОСТИТЕ ЧТО ЗАСТАВИЛ ЖДАТЬ».

ПАМЯТИ ПУНКТУАЛЬНОСТИ

Мы появились на свет в одном рязанском роддоме, но он рано метил в гении и вскоре стал им. Нобелевскую Слава не получил потому, что занимался областью физики, не имеющей прикладного значения и какого-либо смысла. Это была чистая поэзия науки, возможно — прекрасная, но точно — ненужная.

Неудивительно, что Слава напоминал рассеянного академика из сталинской фантастики, чудом перебравшегося в Калифорнию. За рулем он вел себя шахидом: в городе игнорировал светофоры, на шоссе предпочитал обочину.

На прощание Слава обещал меня навестить.

— Когда?

— Когда получится! — вскипел он.

— А заранее, — заныл я, — узнать нельзя?

— Вот еще! — отрезал Слава, и ушел не оборачиваясь.

Я и сам был таким — мятежным, романтичным, неточным и расплывчатым. В школе, ска-

жем, меня мучили поля. Их девственность полагалось стеречь в каждой тетради, но все мои строчки норовили заползти в запретную зону. Не зная, куда заведет вдохновение, я не мог остановиться до тех пор, пока не получал «двойку». Мои тетради бродили по школе: учителя пугали ими друг друга. Лишь к старости я расплатился за ошибки молодости — тем, что перестал их прощать другим.

Как бессонница, пунктуальность — тяжелое бремя; и для тех, кто ею страдает, и для тех, кто слушает, как ею хвастаются. Порок параноика, она пытается обуздать хаос, обещая предусмотреть все на свете. На этом свете, конечно. Страхась потусторонних неожиданностей, я стараюсь их обойти — заблаговременно.

Другие считают, что в этом уже нет нужды. Это раньше время было глыбой. Тяжелое и мерное, оно давило всех поровну. Теперь оно раскололось на мириады темпоральных капсул, позволяя каждому жить, когда хочется.

Приватизация времени обнаружила его истинную суть: выяснилось, что оно у всех разное. Персональное ощущение длительности разнится, как опечатки пальцев.

— Настоящее — условность, — сказал мне по телефону так и не добравшийся до Нью-Йорка Слава. — Если тебе случалось поднять трубку до

того, как раздался звонок, это значит, что ты живешь в будущем.

Собственно, так оно и есть. Обгоняя сегодняшний день ради завтрашнего, я живу взаимы у будущего, прибавляя выходные к отпуску и отпуск к пенсии. Умом я понимаю смешотворные претензии пунктуальности на вечность, нашей частью которой является время, но все равно боюсь опоздать не меньше старомодной кукушки из допотопных ходиков. В оправдание я, как все, цитирую последнего (и самого бездарного) из всех Людовиков, назвавшего точность «вежливостью королей». Возможно, это и так, но тем, кто редко бывает при дворе, она уже не нужна.

Нелюбимое дитя проклятой индустриальной эры, пунктуальность синхронизировала трудовые усилия. Она поднимала по гудку целые города и ставила их к станку, как к стенке. Рабская добродетель, пунктуальность навязывала себя тем, кто не мог ее избежать — ведь от хорошей жизни никто никуда не торопится. Научившись ценить нематериальное, ручное и штучное, наш юный век решительно остановил конвейер, когда обнаружил, что талант стоит больше времени. С тех пор лучшие приходят на работу не только когда вздумается, но и если захочется.

Вслед за трудом пунктуальность покинула наш досуг. Приспосабливаясь к жидкому расписанию новой жизни, телевизор рассказывает новости не по вечерам, а когда включили. И кино теперь можно смотреть, когда захочет зритель, а не кинотеатр. Но сильнее всего пунктуальность пострадала от мобильного телефона. Благодаря ему, мы идем по жизни, помечая дорогу звонками, как пес — столбы. Сотовая связь упразднила древнюю концепцию свидания. Незыскательный этикет беззаботного поколения утверждает, что нельзя опоздать, если можно позвонить.

Теряя практический смысл, пунктуальность взамен приобретает эстетическое измерение. Учтливое обращение со временем красиво, как всякое бесполезное и потому вымирающее искусство вроде целомудрия и умения повязывать галстук. И я благодарен пунктуальности за то, что она размечает мой путь к развязке, поверяя маршрут не часовой, а минутной стрелкой.

ПАМЯТИ КНИГИ

Я не боюсь, что люди перестанут читать или, тем более, писать. В одной Америке 8 миллионов блогеров истерически строчат заметы на полях своей нехитрой жизни. (Они напоминают мне упомянутый в «Республике ШКИД» журнал «Мой пулемет», который так назывался не за боевитый характер, а потому, что часто выходил.) Не верю я и в полную ликвидацию книги, ибо не могу себе представить ничего более удобного: дешево, сердито и без батареек.

Более того, я не вижу трагедии и в том, что электронная книга вскоре оторвется от бумажного оригинала и начнет самостоятельную жизнь на экране каждого компьютера. Вспомним, что литература, причем лучшая — от фольклора до Гомера, умела обходиться не только без книг, но даже без письменности. Поэтому во всех грядущих переменах меня, собственно, страшит не столько смерть книги, сколько ее последствия —

будущая судьба самого чтения, которой обещает радикально распорядиться стремительно наступающая дигитальная революция.

Хотя культурный космос и кажется столь же необъятным, как обыкновенный, измерить можно и тот, и другой. Если астрономы способны подсчитать размеры Вселенной, то архивисты знают, сколько информации мы накопили за всю нашу историю, начиная с шумерских табличек и кончая «Ночным дозором». А именно: 32 миллиона книг, 750 миллионов статей, 25 миллионов песен, три миллиона телепередач, а также — 100 миллиардов сетевых страниц. Сегодня все это могло бы разместиться в скромном амбаре, размером с сельскую библиотеку. Но скоро все знания мира влезут в один iPod. И тогда великий демократический переворот делает каждого из нас хозяином второго — оцифрованного — мира. Вопрос в том, что мы будем с ним делать?

В этой перспективе меня страшит, что компьютер убьет не столько книгу, сколько ее идею. Оставшиеся без переплета страницы вовсе не обязательно читать все и читать подряд.

Вместо обещанной всемирной библиотеки, нас ждет лес цитат. Дигитальная литература превратится в равноправную информационную массу, ориентироваться в которой может толь-

ко Интернет. Конечно, поисковое устройство услужливо предложит нам выборки на нужную тему — сколько весит солнечный свет, как заметить унитаз и что писал Гоголь об утрибках. Но чтобы рассказать нам об этом, Гугл и его компания должны разброшюровать все книги в мире, вернув их к той словесной протоплазме, из которой автор лепил и строил свой опус.

Гигантская разница между обычным и компьютерным чтением в том, что второе позволяет нам узнать лишь то, что нужно. Монитор — слуга, вышколенный дворецкий, лаконично отвечающий на заданные вопросы. Книга — учитель, наставник: она отвечает и на те вопросы, которые мы ей не догадались задать.

Конечно, и раньше были книги, которые почти никто не читал от корки до корки. Самая известная — Библия. У нас ее долго заменял Ленин, всякое сочинение которого было лишь плодородным полем цитат, рвать которые не возбранялось любому. (Моя любимая — «большая половина», оправдать которую взялся отчаянный справочник по стилистике Розенталя.) Однако беда всякой универсальной книги в том, что она напоминает телефонную: ее глупо читать с первой страницы, и можно — с любой.

Еще недавно такая литература соблазняла читателя, освобожденного от диктата автора.

Но надолго этой анархической свободы не хватило.

— Есть мириад способов, — пожаловался мне Павич, — прочесть «Хазарский словарь», но ими никто не пользуется.

Получается, что я, в сущности, оплакиваю не книгу, а переплет. Однако он-то и создает композицию, иерархию, дисциплину, другими словами — цивилизацию. Ею мы охотно жертвовали ради культуры, мятежной стихии, презирающей всякую узду. Но это было раньше — в романтически дерзком XIX столетии. Сегодня в нашем напуганном вернувшемся варварством XXI веке выяснилось, что культура и есть цивилизация. Считая форму содержанием, она открывает нам не суть вещей, а их порядок. Важно не «что», а что за чем идет.

Чтобы усвоить этот урок, надо преодолеть детское искушение бунтом и спокойно предаться традиции. Книга учит, как ее читать, закон — как жить, Бог — как умирать, некролог — как хоронить.

Нью-Йорк, 2004—2006

Александр Генис

**ДЗЕН ФУТБОЛА
и другие истории**

Редактор *Кочарова Н. С.*

Художественный редактор *Кузнецов В. К.*

Корректор *И. Н. Мокина*

Технический редактор *Герасмова Н. Н.*

Компьютерная верстка *Анищенко Ю. Б.*

Подписано в печать 07.02.2008. Формат 70×100/32

Гарнитура «Нью Баскервиль». Усл. печ. л. 10.

Тираж 7000 экз. Заказ № 1338

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;

953004 – литература научная и производственная

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.60.953.Д.007027.06.07 от 20.06.2007 г.

ООО «Издательство Астрель»

129085, Москва, проезд Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»

141100, РФ, Московская обл., г. Щелково,
ул. Заречная, д. 96

Наши электронные адреса:

www.ast.ru, y-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

АСТ Издательская группа АСТ

КАЖДАЯ ПЯТАЯ КНИГА РОССИИ

**НАШИ КНИГИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ**

буква

в Москве:

- м. Бауманская, ул. Спартаковская, 16, стр. 1
- м. Бибирево, ул. Прищина, 22, ТЦ «Александр Ленц», этаж 0
- м. Варшавская, Чогагарской б-р, 18а, т. 110-89-55
- м. Домодедовская, ТК «Твой Дом», 23 км МКАД, т. 727-16-15
- м. Крылатское, Осенней б-р., 18, корп.1, т. 413-24-34 доб.31
- м. Кузьминки, Волгоградский пр., 132, т. 172-18-97
- м. Павелецкая, ул. Татарская, 14, т. 959-20-95
- м. Парк Культуры, Зубовской б-р, 17, стр.1, т. 246-99-76
- м. Перово, ул. 2-я Владимирская, 52/2, т. 306-18-91
- м. Петровско-Разумовская, ТК «XL», Дмитровское ш., 89, т. 783-97-08
- м. Преображенская площадь, ул. Большая Черкизовская, 2, к. 1, т. 161-43-11
- м. Сокол, ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, 76, к. 1, эт. 3, т. 781-40-76
- м. Сокольники, ул. Стромынка, 14/1, т. 268-14-55
- м. Таганская, Б.Факельный пер., 3, стр.2, т. 911-21-07
- м. Тимирязевская, Дмитровское ш., 15, корп.1, т. 977-74-44
- м. Царицыно, ул. Луганская, 7, корп.1, т. 322-28-22

в регионах:

- Архангельск, 103 квартал, Садовая ул., 18, т.(8182) 65-44-26
- Белгород, Хмельницкого пр., 132а, т.(0722) 31-48-39
- Владимир, ул. Дворянская, 10, т.(0922) 42-06-59
- Волгоград, Мира ул., 11, т.(8442) 33-13-19
- Екатеринбург, Мамышева ул., 42, т.(3433) 76-68-39
- Киев, Льва Толстого ул., 11, т.(8-10-38-044) 230-25-74
- Краснодар, ул. Красная, 29, т.(8612) 62-75-38
- Красноярск, «ТК», Тельмановская ул., 1, стр.4, т.(3912) 45-87-22
- Липецк, Первомайская ул., 57, т.(0742) 22-27-16
- Н.Новгород, ТК «Шоколад», Бельинского ул., 124, т.(8312) 78-77-93
- Ростов-на-Дону, Космонавтов пр., 15, т.(8632) 35-95-99
- Самара, Ленина пр., 2, т.(8462) 37-06-79
- Санкт-Петербург, Невский пр., 140, т.(812) 277-29-50
- Санкт-Петербург, Савушкина ул., 141, ТЦ «Маркурий», т.(812) 333-32-64
- Тверь, Советская ул., 7, т.(0822) 34-53-11
- Челябинск, Ленина ул., 52, т.(3512) 63-46-43
- Ярославль, ул. Свободы, 12, т.(0862) 72-86-61

Книги издательской группы АСТ Вы можете также заказать
и получить по почте в любом уголке России.
Пишите: 107140, Москва, а/я 140. Звоните: (495) 744-29-17
ВЫСЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

ЮЮ "До



енис А
стория
29 05 08

134.00 р

льская группа АСТ
вский бульвар, д. 21, 7-й этаж
(495) 615-01-01, факс 615-51-10
aha.ru <http://www.ast.ru>

АСТ ОЯЩИЕ КНИГИ



В новой книге писателя
Александра Гениса,
автора «Американской азбуки»,
«Вавилонской башни»,
«Довлатова и окрестностей»
и многих других книг,
собраны его эссе на разные
темы, большая часть
которых впервые появилась
в Новой газете. «Форум» —
своего рода дневник автора,
давно живущего в Нью-Йорке
и потому пристрастно глядящего
на русскую жизнь из Америки.
Приключения тела и духа
составили вторую часть сборника —
«Отпуск». «Некрология»
позволяют со скорбью и юмором
ответить уходящие из жизни
XXI века явления — от почерка
и эрудиции до телеграмм
и скуки.

ISBN 978-5-17-049830-7



9 785170 498307